

BOSTON PUBLIC LIBRARY



3 9999 06412 211 0

Алла Бессарт

ЖЕНСКИЙ БРЕО



Проза:
женский род

Boston Public Library
Boston, MA 02116



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Kahle/Austin Foundation

Алла Боссарт

ЛЮБОВНЫЙ БРЕД

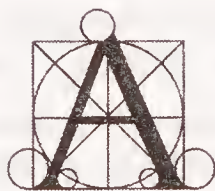


Проза:
женский род

Алла Боссарт

ЛЮБОВНЫЙ БРЕОД

рассказы



АСТ
Астрель
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б43

*Переплет — Василий Половцев
(дизайн-студия «Графит»)*

*В оформлении использована картина
В.Любарова «Лунатики»*

Фото автора — Сергей Кузнецов

Составитель серии Елена Шубина

Боссарт, А.Б.

Б43 **Любовный бред : рассказы / Алла Боссарт. — М. : АСТ :
Астрель, 2010. — 318, [2] с.**

ISBN 978-5-17-064893-1 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-26728-4 (ООО «Издательство Астрель»)

Алла Боссарт — известный прозаик, эссеист. Истории, рассказанные ею в новой книге, — криминальные, коммунальные, inferнальные — о любви как роде недуга, который поражает всех: молодых и старых, красавиц и инвалидов, бомжей и олигархов, священников и мелких бесов... Еще вчера успешный человек вдруг оказывается на самом дне; женщина уже купила подвенечное платье, но... избранник даже не догадывается о ее существовании; молодой муж вдруг обнаружил себя отнюдь не в собственном доме... Одним словом, любовный бред!

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Подписано в печать 18.01.2010. Формат 84x108/32.

Усл. печ. л. 18,48. Тираж 3000 экз. Заказ № 754

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

ISBN 978-5-17-064893-1 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-26728-4 (ООО «Издательство Астрель»)

©Боссарт А.Б., 2010

© ООО «Издательство Астрель», 2010

От автора

«Любовный бред» — известный в психиатрии диагноз. Одна история болезни поразила меня настолько, что, написав рассказ с таким названием, я уже не могла остановиться и стала собирать аномальные истории любви — или сочинять их. Так появился цикл «Любовный бред» — 21 текст о любви абсурдной, странной, порой страшной, иногда смешной или печальной. Любви на перекрестке трех дорог: жизни, смерти и безумия.

шесть
КОММУНАЛЬНЫХ
историй

ПЕНСИОНЕРКА

Трудно не знать, сколько лет этой так называемой Лёльке: коллеги в полном составе плюс кое-кто из случайных посторонних вовсю зажигали по случаю достижения этой Ольгой Николаевной пенсионного рубежа. Контора увешана Лёлькиными фотографиями в разных видах, сама пенсионерка пляшет на столе, молодой шеф кричит: «Вот лучшие ноги ближнего зарубежья, да и того же дальнего!»

Когда-то он был Лёлькиным любовником — только придя сюда руководить опытными архитекторами: юный, блестящий, креативный, с могучими связями роскошный мачо, от которого за версту разило спермой. Лёлька весело и радушно, как все, что делала, взяла его под крыло, аккуратно вводила в неформальную жизнь коллектива, учила традициям и хорошим манерам, и на ее красивых плечах Левочка въехал в дружный коллектив совершенно своим парнем, работать с которым было райским наслаждением.

Лева щедро платил, летом фрахтовал для конторы теплоход с зелеными стоянками, зимой вывозил команду в какие-нибудь там Альпы — все здесь были горнолыжники, сам Лева лихо пахал по целине на доске. И дело знал, вследствие чего контора получала лучшие заказы и на Леву, грубо говоря, молилась.

Левочкина молодость Лёльку отнюдь не смущала, ей и самой было в ту пору далеко до вечера: сорок пять, ягодка опять и опять. Причалив вплотную к бальзаковской классике, а именно к тридцати, Лёлька сказала себе, что — вот он, *ее* возраст, и другого не будет. Не в том смысле, что она унижалась, молодилась и врала — никогда. Вот уж чего не было. Годами, сколько их у нее накопилось, Лёля милейшим образом щеголяла, делая их предметом личного цирка, неистощимой клоунады, чем обескураживала девчонок и мальчишек, а мужиков постарше реально сводила с ума. Сногсшибательным был именно контраст между календарным возрастом и *самоощущением* — легким и крутым слаломом жизни, которым Лёля откровенно упивалась, проходя сложнейшие трассы с песней и бешеной радостью в глазах, ногах и сердце.

Обожала тряпки, знала все секонд-хенды Москвы, Питера, Поволжья и Парижа и слыла на тусовках маяком стиля. Руками могла смастерить все — от юбки до пальто, от колье (проволока, прибрежные стеклышки, ракушки, перышки, пуговички) до светильника, от тряпичной куклы до садовой скульптуры, от стула до антикварного буфета из

найденных на помойке фрагментов. Умела разобрать и собрать двигатель, починить часы, унитаз, проводку. Построить дом. Ее дачу с витражами и самодельной мебелью — мореный сруб под зеленой черепицей в зарослях черемухи, сирени, жасмина и шиповника — снимали для всех дизайнерских журналов.

В общем, Лёля эта в прямом и переносном смысле, не покладая прекрасных неухоженных рук, возделывала свой сад.

Железной хваткой воспитывала двух кобыл-внучек, двух же русских борзых сук, старую карликовую таксу Цию, также суку, и древнюю свекровь (от первого мужа), тоже суку порядочную и тоже, кстати, Цию — в параличе, но здравом рассудке, почему, видимо, и выбрала из двух ненавидимых зол, сына и невестки, меньшее. После этого первого охламона, навеки уползавшего из дома в слезах и буквально нагишом, будучи застигнут в супружеской спальне — отнюдь не с девкой, это бы ладно, а с таким же голым мудаком, — неунывающая Лёля турнула еще троих мужей, обновляя их парк, как и машины: каждый раз — новейшая модель с меньшим и меньшим пробегом... Очередному мужу обычно бывало тридцать, иногда меньше, но ни минутой больше. (Теперь тридцать было уже ее сыну, балбесу — в папашу-пидора — и бездельнику, которого Лёлька обожала, правда издали, ибо давно спланировала на всякий случай в Лондон, женив оборота на своей подруге-англичанке, средних лет оторве, баронессе с дизайнерским уклоном и бизнесом.

Только в письме из родового замка стервец признался в грехе молодости, и Лёля где-то на Ставрополье отыскала его внебрачных и никому не нужных близняшек Соню и Саню.)

В семье из шести теток, четыре из которых были, как сказано, суками, а две — беспризорными акселератками, мужскую нишу закрывала, само собой, Лёля: финансы, решения, дисциплина. Работала, как лошадь. Пила, надо признать, примерно столько же. Курила полторы-две пачки в сутки. Спала с кем, когда и где хотела. В обязательном порядке, какой бурной ни была бы ночь, поднималась в семь и рулила в фитнес — плавала, качалась и медитировала. И все ей на пользу! Ну можно не влюбиться в такую бабу? «Лёлечка у нас приколистка», — отражали суть внучки (не суки, но кобылы, если помните).

Шеф Лева был одним из тех, чье имя, можно сказать, легион. Довольно быстро оба исчерпали свой сексуальный интерес и перевели стрелку на рельсы нежной дружбы. Лева, точно хороший еврейский сын, устраивал для Лёли презентацию всех своих девушек. Советовался. Экспертизу Лёля итожила кратко и емко: супер. Или: щучка. Или: мандавошка. Или: блондинка (могло относиться к любой мас-ти, как психологический тип). За самых удачных хлопотала: добрая девочка, не твой случай, брось, пока не поздно. Лева слушался неукоснительно.

И вот, значит, эта великолепная Лёля гуляет пенсию. На ней — розовый, отчаянно декольтированный бархатный комбинезон «диско» с зеленым кушаком, короткие зеленые сапоги с вышивкой,

ошейник из пунцового бисера с бутылочным стеклом — все самошток, включая вышивку на сапогах.

Честные морщины у глаз и губ искупаются сиянием зубов (подлинник). Седой ежик прикрыт тюбетейкой: серебряное шитье по малиновому с черным бархату, этнографический раритет, подарок дивного узбека (роман в ташкентской экспедиции по архитектурному надзору за строительством новых объектов на месте разрушенного города). В ушах — длинные зеленые кораллы в серебре (1985 год, первый индивидуальный заказ: дача в Гульрипши, потрясающий грузинский скульптор; отдалась на рассвете по дороге с пляжа на цоколе памятника Ленину в санаторском парке; впоследствии резал себе вены — Гия, понятно, а не Ленин). Три крупных малахита на мозолистых пальцах (ювелир из Питера, лютый февраль, пили в засранной коммуналке трое суток подряд, не вылезая из постели с видом на Петропавловку; дрались подушками, кусались и сочиняли «Залп Камасутры по-зимнему с картинками», ржали до икоты, ах, до чего хорош был парень! Помер, бедный, от цирроза в прошлом году, жена звонила, на похоронах обе плакали, обнявшись).

— Вот они, лучшие ноги России! Обожаю! — кричит Левка.

— Уйду от вас, модернисты-рококосы! Укроп буду выращивать, пенсию дали три тыщи, бляди! Мне, ветерану! — била чечетку Лёлька.

— Я тебе уйду! — грозил кулаками Сергуня, дружок с горшка, оба архитектурные детки, одноклассники, одноклассники, никакого секса. — Уй-

дет она, видали! (Сергуню она любила, как брата, и одному прощала занудство и буквальность неумелого юмора.)

— Уй, Ольга Николавна, где такую обувь дают клевою?

— Места знаю, крошки, поживите с мое!

— Несколько слов для наших телезрителей, — глумился стареющий эстет Павлик по прозвищу Паша Эмильевич, — что чувствует красавица на пенсии?

— Отвращение к мужчинам старше сорока, — усмехается пенсионерка. — И вообще, — Лёля остановилась, подбоченясь. — Самое время мне замуж, пацаны. А то живу как монах, ей-богу.

Оглядела аудиторию, и хмельной взгляд упал на Севу, которого с первого дня припечатала Допризывником за тощую юность и стрижку почти наголо. С виду совсем школьник, длинный губошлеп с острым кадыком и голодными глазами. Ах, что за честные, голодные, прозрачные глаза... Матиуш, королевич-сирота, майка поверх рубашки, выпуклый детский лоб. Севыч явился с молоденькой женой-студенткой, оба стеснялись чуть не до слез.

— Да вот хоть за него! — Лёля раскрыла объятия и упала со стола прямо на руки к Допризывнику. Обняла за шею и осторожно поцеловала в глаза.

Сева от ужаса и смертельной неловкости прижимал Лёлю к груди все крепче, маленькая стрекозообразная жена в огромных очках неуверенно хихикнула и побагровела. А Допризывник вдруг оступился — и, не удержав равновесия, рухнул на

колени. «Ой, Ольга Николавна...» — «Это я, Оля», — улыбнулась Лёля и, разжав длинные окоченевшие руки мальчишки, тоже опустилась на колени. И, словно детсадовцы под столом, коленопреклоненные, пенсионерка Ольга и отрок Всеволод, забыв все на свете, включая стрекозку, положили ладони друг другу на щеки, а руки у них были почти одинаковые — большие, с длинными мосластыми пальцами и короткими чистыми ногтями, — и стали тихо, испуганно, обмирая от новизны ощущений, целоваться.

Целование — ритуал очень специальный и отдельный, для тех, кто понимает. Эротики в нем больше, чем во всей Камасутре, китайских трактатах об искусстве плотской любви и фильме «Эммануэль» вместе взятых. Целоваться можно и нужно бережно. Никаких засосов, вывороченных губ и мокрого языка — боже сохрани!

В угол рта. В крыло носа. В подглазную впадину и собственно в закрытый нежным веком глаз. В небритый для солидности подбородок. В хрящик уха над серьгой, так называемый козелок. В висок, прямо в голубую жилку. В переносицу — это особое приключение, место между бровями покрыто незаметным пушком, и его следует едва касаться губами, ощущение — будто целуешь птичку. И снова в углы губ, пьяно, пьяно, пьяниссимо...

Ничего подобного за пятьдесят пять лет бурь и райских наслаждений Ольги Николаевны Баунти (бессрочной ягодки) не было, а в двадцатитрехлетней жизни Допризывника — само собой. Откуда?

— Э, — тронул ее за плечо Сергуня. — Прекращай, стервь ты бессовестная!

Маленькая очкастая жена захлебывалась ревом, уведенная девчонками в сортир. «Не обращай, она у нас такая, чумовая... Баба классная, но крыша, понимаешь... да у нее две внучки, чего ты! Ну, подумаешь, мужика твоего чмокнула. Да хрен с ней, забудь! Она у нас вообще такая... Бешенство матки, поняла? Всех тут перетрахала, мы уж привыкли. Умой рожу-то...» Славные девчонки.

Из конторы они уехали вместе на такси, Лёля пьяной за руль не садилась, вы что! И продолжали целоваться всю дорогу. Целовались в лифте, и, отпирая квартиру, Лёля долго не могла попасть ключом в замок, потому что Сева целовал ее седой затылок — точнее, впадинку под ним.

Трем сукам сказала: «Лежать, свой», свекрови, немедленно и картаво, как стая воронья, запророчившей из своей комнаты, крикнула: «Цахес, идите к чертовой матери!» Внучкам просто дала отмашку — не до вас, родные кобылы.

Севыч прожил у Лёли три дня, выходные, считая понедельник — какой-то новый российский праздник типа Дня Конституции. Их юная любовь была свежей и солнечной, как грибной дождь. На четвертый день рано утром в дверь позвонили. «Лежи, — сказала Лёля, — это к Циле, из общества слепых».

— Здравствуйте, — сказала стрекоза. — Я насчет Севы.

— Привет, — зевнула Лёля. И крикнула в глубь квартиры: — Допризывник, к тебе!

Между прочим, она уже три дня не плавала, не качалась и не медитировала. В последний год Лёля изменила распорядку лишь однажды — когда ездила в Питер на похороны своего ювелира.

Вещей у Севы не было, он ушел быстро и незаметно. Лёля успела к девяти, встала в позу дерева, поджав ногу, закрыла глаза и сказала себе: «Я — дуб. У меня глубокие, прочные корни. В моих ветвях поют дрозды. Зима миновала. Пришла весна, май, я зазеленела и даю густую тень. Боже мой, что за херня!»

Не извинившись перед гуру, она вышла из зала и позвонила по мобильному. «Абонент не отвечает или временно недоступен», — сказали ей.

«Козлы, — подумала Лёля. — Насколько веселее жилось, если бы они при этом говорили: “Целую!”»

ЛЮБОВНЫЙ БРЕД

Никаких оснований считать Сергея Львовича женихом у Кире не было. Начать с того, что вообще женат и двое детей, шесть и девять. Но не это, конечно, главное. А главное, что Сергей Львович просто никогда о Кире не думал и не вспоминал, и даже, увидев ее второй раз в жизни у общей знакомой Лены, с трудом узнал, хотя вежливо улыбнулся и поцеловал руку. Скорее всего, он ее совсем не узнал, но сделал вид, что да, как же, помню-помню. Помните? В прошлом году на дне рождения у Леночки на даче? А, ну да, сказал Сергей Львович как воспитанный человек, а как он мог ее помнить, будучи в компании новичком, а там было двадцать восемь человек с детьми и два дня пили, как заведенные? Жена Сергея Львовича запомнилась многим, это да. Очень яркая женщина, пела романсы и в шутку танцевала стриптиз. Раз в году гримерша Ленка собирала весь театр на даче, и там отрывались (а у некоторых уже взрослые дети) по полной. Кира-то как раз все больше курила и щурилась сквозь дым. Незаметная девушка.

А тут пришла к Ленке просто так. Дома уже который год лежала при смерти бабушка, Кира отбарабанила левый концерт с дуэтом и одним артистом, песни из кинофильмов, в Доме медика, получила свои небольшие рублишки, и захотелось вдруг выпить винца. Не в том смысле, что она выпивала. Так, раз в неделю, не чаще. Просто потянуло размяться душой, отогреться в неформальном человеческом тепле. А у Ленки дом нараспашку, проходной двор. И завалилась, прямо без звонка, привет, незванный гость хуже Таранина. (Шутка местного значения, их директор, неуч и вор.) А, Кирка! Знакомьтесь, Сережа, Алла — это наша Кирочка, работник рояля, скромности нечеловеческой.

И вот тогда Сергей Львович ее якобы узнал и поцеловал ручку. А в конце вечера, о чем-то пошептавшись со своей Аллой, спросил, не согласится ли Кирочка взять ученицу. Дочка их друзей, обожает музыку, но учителя почему-то не держатся. Так что на ваших условиях: люди небедные, имейте в виду.

На удивление бездарной девочкой оказалась эта так называемая Дуня. Родители носились с ней как с писаной торбой и платили Кире бешеные деньги — пятьдесят долларов за два академических часа, два раза в неделю, это четыреста в месяц. А когда и четыреста пятьдесят. В театре Кирина зарплата концертмейстера целиком и полностью, с левым аккомпаниаторством редко дотягивала до десяти тысяч рублей, потолок. Упираясь в этот потолок, Кира не могла, конечно, жить и дышать полной грудью. Слава богу, бабушку вскоре после второй встречи

с Сергеем Львовичем (роковой) она схоронила, теперь хотя бы площадь была изолированная от всех, две комнаты с лоджией на «Автозаводской». А так практически нищета. И Дуня со своей феноменальной глухотой и топорными ручонками играла, конечно, в этих обстоятельствах немаловажную роль МЧС.

Сергей Львович, он же Сережа, естественным образом связался в голове Киры с этой судьбоносной Дуней. Сложные чувства к ученице все навязчивей приводили Киру к мыслям о Сереже. Без натяжки можно сказать, что она думала о нем теперь постоянно и непрерывно. Причем так прихотливо в хрупком сознании пианистки исказился мир, что Сережа стал существовать в нем совершенно автономно от своей семьи и вообще реальности. И его не слишком выдающаяся фигура метр семьдесят четыре выросла в Кириных грезах до каких-то, я не знаю, культовых масштабов.

Надо заметить, что все это время они не только не виделись, но и вовсе не общались — ни виртуально, никак. Кира даже телефона его не знала. Поэтому трудно объяснить, не прибегая к хитроумным построениям психиатрии, почему прекрасным солнечным утром, когда весна, наконец, прорвалась и засияла, ослепительно отражаясь в белом оцинкованном железе крыш, Кира проснулась с твердым и счастливым убеждением, что Сережа — ее жених. И свадьба назначена на пятое июня — Всемирный день охраны окружающей среды от экологического бандитизма.

В театр она прилетела как ласточка, раскрыв объятия всему коллективу. «Что веселимся, Малярова? Водки треснула? — поинтересовался Таранин, глядя на часы. Каждое утро уже с половины десятого он стоял, как швейцар, у дверей и встречал опоздавших. — Пиши объяснительную по факту опоздания на семнадцать минут». Но Кира, ничего не слыша и вряд ли заметив паразита, промчалась в репетиционную, упала на табурет перед роялем и разразилась каким-то Штраусом.

Перемену в концертмейстере заметили все. То была вся такая линиялая, ни грамма макияжа, юбки какие-то перелицованные, единственные сапоги (бордовые на искусственном меху), и те из магазина «Ж». А тут вдруг — глаза сияют, волосы чистые, блестящие, сама румяная, укороченные брючки в клеточку... Маникюр! Ленка — та сразу прищурилась: любовника завела? Кто, чего, сколько лет, колись, подруга! Но Кира временно решила помалкивать: из соображений не сглазить.

Ленка же, сходя с ума от любопытства, установила за Кирой слежку. И вот раз, пристроившись у нее в кильватере, с изумлением запеленговала, как та совершенно по-деловому и целенаправленно, отнюдь не как некоторая зевака без определенной жизненной задачи, заруливает в свадебный салон. Ленка — по-тихому следом. Наблюдает, прячась за пышными манекенами, как Кира ходит, щупает, интересуется ценами. Потом показывает раскрашенной, подобно индейцу, продавщице на одно платье, Ленка чуть не закричала, такое дикое: атласный

лиф, весь в розочках, юбка парашютом и безумный бант на заднице. И идет с ним в примерочную! Ну вообще... Выходит — чистое чучело, руки растопырила и плечами голыми поводит: ну как? Продавщица, дрянь такая, прямо в ладошки захлопала: супер, просто супер! Берите, не думайте! И эта снова переодевается и гребет в кассу. Ленка навела на резкость, глянула ценник: три тысячи девятьсот! Мама дорогая, вся зарплата!

Назавтра театр знал, что работник рояля выходит замуж, и небезуспешно. На Киру посматривали с хитринкой, хлопали по плечу, иные целовали. Таранин ухватил за рукав: а ну, в глаза смотри! Беременная?

Ленка подступила прямо и без обиняков: кто таков, адреса, явки? Кира уж рот открыла, так ее распирало, но в последнюю секунду все же передумала. Один, мол, старый знакомый.

Родителей Дуни Кира оповестила, что скоро, вероятно, уроки придется прекратить, потому что она выходит замуж (о, поздравляем), и муж против.

И во все это сама Кира свято верила и ходила всецело счастливая в преддверии семейного очага. Сережу она любила спокойной большой любовью, вела с ним нескончаемые внутренние диалоги и каждый день покупала себе от его имени цветы. И все бы, может, и прошло с окончанием весны как стихийное лавинообразное заболевание, если бы рядом оказался опытный специалист психиатрического профиля и заставил бы Киру лечь недельки на четыре в Ганнушкина под капельницу, ибо ее случай

медицине хорошо известен как любовный бред и нуждается в медикаментозном лечении. Но рядом оказалась все та же чумовая Ленка, которая на общую беду проявила любопытство обывательского характера: где жить-то будете?

И вот тут любовный бред Киры принял катастрофическое направление квартирного вопроса. Постепенно она утвердилась в мысли, что между нею и Сережей решено продать обе их квартиры и купить одну большую, четырехкомнатную, где-нибудь в районе «Юго-Западной». И она, о господи, нашла какую-то риелторшу, и та в два счета приискала ей покупателей. Цифра, придуманная риелторшей, буквально сразила малоискушенную Киру своим величием. За двухкомнатную квартиру на «Автозаводской» общей площадью сорок два квадратных метра, включая лоджию, ей предлагали восемьдесят тысяч долларов минус услуги. Между нами, абсолютный разбой, учитывая неумолимый рост цен на жилплощадь. Пиратка положила в карман никак не меньше десяти штук (по договоренности с контрагентами, которые охотно пошли на эту аферу, прельстившись дешевизной). И вот, честь по чести, операция проведена через банк, и Кира в одночасье из владельца полноценной недвижимости превращается в обладателя иллюзорных цифр и чисел, а также, будем говорить откровенно, бомжа. И принимается ждать. Она бегом бежит с работы в уже не принадлежащую ей квартиру и садится у окна. Новая хозяйка площади звонит ей по шесть раз в день, с понятным нетерпением интересуясь, когда невес-

та съедет. А невеста не только не съезжает, она даже пакуется как-то спустя рукава. Так, по ящичку в день. То книжки рассует. То посуду. То вдруг все вынет и переложит, а то над фотографиями сидит полночи. При этом она не отходит от окна, потому что с минуты на минуту ждет Сережу, который якобы должен за ней заехать.

Но вот уже все сложено. В обеих комнатах и даже на лоджии до потолка громоздятся коробки, это просто ужас, сколько у человека накапливается барахла за жизнь, даже и не слишком длинную. А Кире все-таки тридцать четыре года, плюс бабушкина рухлядь, проходящая по разряду антиквариата. Спит Кира на голом диване, потому что вся постель увязана в мешки, укрывается колючим пледом. Май уже кончился, и планета отметила День защиты детей, и надвигается пятое июня, и зеленые уже на марше типа «возродим Арал и не позволим превращать страну в радиоактивную помойку».

Наконец новая хозяйка потеряла терпение и приехала лично, оскалив золотые зубы, с сыном в «адидасе». «Ну? — спросили они Киру с угрозой. — Выкатишься ты уже или с милицией выселять?» И толстая тетка, с ног до головы облитая французскими духами с целью забить хищный запах пота, поддевает длинным грязным алым ногтем край обоев и срывает полосу за полосой, приговаривая: нахуё наху... А страшный сын стоит в дверях неподвижно, как каслинское литье, и смотрит в одну точку пустыми глазами, и ясно, что он не уйдет отсюда никогда.

Кира, впрочем, ничего не слышит и не видит, кроме пустой Велозаводской улицы за окном. И тет-ка говорит сыну, чего стоишь, мудак, и они в четыре руки начинают выкидывать прямо с лоджии второго этажа коробки с посудой, фотографиями и прочим. Лоджия выходит во двор, и там, внизу, полное безлюдье, исключая кусты и обрубок старого тополя, который спилили, несмотря на протесты жильцов, по жалобе других жильцов на аллергенный пух, забивающий квартиру, и бороться с ним больше нет сил.

А Сережа, милый и добрый человек, всегда готовый откликнуться на чужую нужду, пристроив бездарную дочку своих — отнюдь не друзей, это он приврал, а довольно косвенных знакомых по горным лыжам (где, кстати, их с Аллой и подцепила общительная Ленка), — о Кире забыл и думать. И жил со своей Аллой и двумя пацанами, шесть и девять, обо-жая всех троих, о чем честно предупредил одну там из командировки в город будущего Ханты-Мансийск, что о жениться не может быть и речи, а так — почему бы и нет.

КЛЯТВА ГИППОТАМА

Во всем подъезде на личной приватизированной площади проживали только режиссер и Вера Борисовна. Ну режиссер — он человек отдельный, как и его квартира, с него какой спрос. А Вера — своя, такая же, как мы, и ей коммунальное старичье поначалу остро завидовало. Когда она просто ходила к ним в виде участкового врача, живя неизвестно где, а именно в такой же коммуналке на Трубной, — болящие жильцы ее обожали — не то слово. Небывалой нежности докторша, чистый ангел, ручки непременно мыла, улыбалась, как на зубной рекламе, а что два передних зубика чуток набекрень — так от этого только милее. И всегда — вот душенька: придет по одному вызову, а заглянет к каждому, весь клоповник обследует, давление обмерит, прослушает трубочкой, помнет сморщенные или жирные, у кого как, животы и каждому скажет что-нибудь приятное. «Пьете кефирчик-то на ночь, Прасковья Ивановна? Вот и молодец. У, Лия Давыдовна, это не пульс, это какой-то метроном! Не нашли еще неве-

сту, Николай Петрович? На бульварчик бы вышли, такой мужчина, на коня верхом, а все бока мнете!» «Эх, Верочка Борисовна, — крутил ржавый от курева ус отставник Николай Петрович. — Мне б вас в невесты, ан не пойдете...»

А тут вдруг эта самая Верочка-ангел — оп, и переезжает к ним в дом в отдельную трехкомнатную! Как же так? А вот так.

Обитал там богатый дед — в двух смежных один, как гвоздь. Только Вера Борисовна за ним и ухаживала: кормила, колола промедол и прочее, так как был дед, к большому сожалению, онкологический. Молодожены из третьей комнаты булки хлеба не принесут. И вот тихо-тихо этот заброшенный жилец, а точнее — как раз *нежилец*, нанял четкую бабу-риелтора, приобрел при ее помощи малогабаритную двушку в Бутово и сплавил туда молодоженов, чему они очень обрадовались, не разжимая объятий. А комнату их — о, прекрасную, двадцать метров с большими окнами во двор, — быстренько приватизировал. Богатый, повторяю, был дед, со сбережениями и пониманием момента. Антиквар. А когда отстрадал свой срок, другими словами, умер, измученный популярной у старых мужчин опухолью простаты, можно сказать, на руках у Верочки, бессонно дежурившей у деда последние дни, налетели мухами родственнички, давай искать завещание. А завещание у нотариуса-мухомора. И, как в английском фильме, мухомор рассадил их всех, сволочей этих никому неведомых, на стулья и диваны и Вере Борисовне велел тоже остаться, хотя та ни в какую

не хотела, поскольку чужая. И зачитал, что все как есть — квартиру на Сретенке, и коллекцию, и дачу в Красково, и что в Сбербанке на валютном счету общей суммой двести девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать две у. е. прописью — завещано Мурзиной Вере Борисовне, участковому врачу-терапевту. А сволочам — хрен с маслом.

Как Верочку тогда не растерзали на месте — даже непонятно. Рыпнулись было судиться, но в суде и слушать не стали: завещание есть? Есть. Подлинное? Подлинней не бывает. Ну и все.

Вера Борисовна сперва вообще отказывалась входить в свои неоспоримые права наследования. Плакала: не поверят, будут говорить — нарочно дед охмуряла... И как в воду, кстати, глядела. Такие идиотские гадости всей сворой придумывали, что ангел Верочка чуть ли не жила с дедом половой жизнью, через что он и опухоль свою заработал.

Так бы и осталась распухшая от слез Вера Мурзина на своей Трубной при семистах рублях зарплаты и первокласснике Борьке, любимом сыночке-безотцовщине. Но тут явился некто Яша: «Та-ак, — отметил этот Яша, полюбовавшись общим состоянием дел. — Картина крепостного гения “Девочка с комплексами”. Будем бороться и побеждать». Сгреб неполное семейство в охапку и перевез на Сретенку в волшебное, с неба упавшее жилье.

Возникает вопрос: кто есть сей Яша? Близкий мужчина, жених, может быть, родственник ангела Верочки? Отнюдь. Этот нетривиальный персонаж,

если небрежно и как бы со стороны, — в общем-то, просто-напросто Верочкин друг, товарищ и брат (фигурально, конечно, говоря). Но это если небрежно и со стороны. Вникая же в суть вещей по-метростровски глубоко и досконально, я скажу так. Яша и Верочка — уникальный симбиоз, некая биологическая система вроде близнецов. Их связь, поверхностно именуемая дружбой, зародилась тридцать пять лет назад, когда они с интервалом в полтора месяца родились на одной лестничной клетке. То есть родились они, конечно, в роддоме. Но жили (в комплекте с родителями) через стенку. Потом Верочкина мама сгинула, оставив опереточную записку. А еще через несколько лет Яшин папа-шофер разбился всмятку в пьяном виде.

Вера легко могла стать профурсеткой, как ее мамаша, но не стала, потому что папа Боря обожал ее больше всего на свете и даже не женился по этой причине вторично. Умненькая малышка понимала, какую ответственность накладывает на нее папина любовь, и очень ради него старалась. Некоторые называют это нравственным законом внутри нас и, скорее всего, правы, хотя тоже ведь непонятно, откуда он берется. А Яшку миновала судьба хулигана и малолетнего преступника только по одной причине — феноменально, как-то даже не по-человечески был ленив. Вроде кастрированного кота.

В этой связи он не рассматривал Мурзилку с ее зубками набекрень и печальными, словно у таксы, глазами как девочку. Верочка являлась для него тем, что ленивый ценит пуще всего: привычкой. То

есть, как сказал А.С.Пушкин, заменой счастью. Впрочем, если по любому поводу ссылаться на Пушкина, можно вообще ничего не делать для приобретения личного опыта и попасть, наконец, впросак. Что же касается конкретно привычки, то и без Пушкина нетрудно сообразить: чем сильнее власть этой самой замены, тем невыносимее отказ от нее, или, как выражаются в быту, — завязка. Взять элементарное курение или то же пьянство, не говоря о чем покруче. У завязавших наступает абстинентный синдром, но это не обязательно запоминать, потому что всем известно другое понятное и хорошее слово — ломка.

В медицинский он потащился от нечего делать и за компанию, ибо никаких ровным счетом пристрастий у него в жизни не было, если не считать заглатывания приключенческой литературы в положении лежа.

Учеба Якова являла собой бессрочный академический отпуск. Отчислили его с четвертого курса аккурат под осенний призыв. Службу Яша отбывал фельдшером.

Часть располагалась в глухом сибирском гарнизоне, и «фершала» как единственного носителя тайного Знания в радиусе многих верст посещали крепкие проспиртованные местные жители, в основном, уходящая натура. Для этих Яков (будучи в ответе за нищую солдатскую аптеку) держал две литровые банки — одну с белым, другую с красным порошком. На одной имелась наклейка «Melius», на другой — «Kirpichius». Что интересно — помога-

ло. Однажды излеченная им от кишечных тягот бабка (мелиус после еды плюс клизма натошак) приволокла внучку с аналогичными жалобами. Внушка при всей дремучести была дивно хороша со своими прозрачными глазами и молочной северной кожей. Но вот беда: прекрасная высокая грудь вздымалась над таким же высоким животом. На все вопросы внушка отвечала уклончиво: «Без понятия». Получалось, что забеременела дева ни с того ни с сего.

В разгар лета, как раз под дембель, дурында родила. Погода стояла до того роскошная, что Яша поленился так уж срочно рвать когти в Москву к своим привычкам и малоинтересным поискам работы, а решил пожить у бабки и млечной Шуры до осени. И до того там, в смолистых волнах дней и жарких перинах ночей расслабился, что к осени Шурка вновь залетела — и на этот раз очень даже с понятием и конкретно.

Ангел Вера писала: приезжай, чмо, чего-нибудь придумаем. Мать же в письменном виде категорически легла костями с глупыми словами «только через мой труп». А Яша, как его предок Обломов, молча распадался на атомы от тоски, ибо пустота дышала ему в лицо холодом и абсурдом — как в былые времена холодильник к возвращению матери-проводницы из рейса. Ко вторым родам дурная Шура совсем обессмыслилась, валандалась по дому голая, с обвислым животом и грудями, из которых без толку сочилось густое молоко, и, кабы не бабка с Яшей, дети, несомненно, померли бы с голоду или захлебнулись в бочке с огурцами.

В отчаянии он еще цеплялся, устроился в лес-промхозе шофером, читал, что попадется под руку, вплоть до обрывков газет в сортире. Но вопреки тезису художника Ярошенко, что всюду, мол, жизнь, от жизни сносило все дальше: типа аттракциона, где надо удержаться в центре вращающегося круга, но никто не может, и даже самые упорные вылетают вон на мягкие маты с хохотом и визгом. Называется эффект «центробежная сила». В отличие от центростремительной, каковая несла Яшу к естественному центру его судьбы и привычек — к Верочке Мурзиной.

Спасение, как часто бывает в отчизне, пришло из острога.

Талой весенней ночью, когда глина всасывала сапоги по край голенища, в окошко стукнули. В подштанниках и ватнике Яша вышел на крыльцо. Лицо гостя (в таком же ватнике) освещалось папироской. Даже при этом мелком свете не возникало особых сомнений: парень — из тех парней, что вряд ли слышали про нравственный закон хоть внутри, хоть снаружи; слово же «перо» используется ими лишь в одном значении — выразительном, но опасном.

— Ну не сука? — дружески спросил парень, сплюнув. — Колюня, значить, баланду хават, а эта уж с кобелем трется. Ну, давай, козел, зови в хату мужика-то законного. Бум разбираться.

И Колюня ухмыльнулся, блеснув стальными зубами.

Шурка, как была, голозадая, кинулась мужику на грудь, голося дико и вольно: «Ой, не убивай, Колеч-

ка, голубь! Обоя твои, одним разом повылазили, чисто котятки. Шо́фер с лесхозу угол снимат, бабка пустила, знать не знаю, любый мой, кровиночка, ворота-и-ился-а-а!!!»

И едва забрезжило — Яшку шуганули, как бродячего пса. Не дали даже проститься с детишками, к которым за два-то без малого года пусть и без особой любви, но как-никак по-человечески привязался. Вот, кстати, пример привычки, которая никого не осчастливила.

Вера маялась. Даже папе не приходило в мудрую седую голову рассовывать по обувным коробкам ее любимые конфеты «Клубника со сливками», чтобы наткнуться на них с нечаянной радостью. Кого она могла теперь обнаружить под утроспящим на кухне с запиской, пришпиленной к грязной майке: «Великая Мурзила, мы, жильцы первых этажей, выражаем гневный протест против открытых окон, которые провоцируют отбросы общества лазить в них и в мучениях засыпать на полу среди тараканов. Пиво в хол-ке». И кому пожаловаться на Кирилла, который напоминает ей, что следует запастись презервативами? И разве Кирилл станет ловить среди ночи поливалку, чтоб покататься по Москве? И не дико ли, с точки зрения Кирилла, приехать без билета на Ленинградский вокзал, чтобы утром выйти вдруг в Питере и забуриться на какой-то чердак, где смешные люди в тельняшках называют тебя сестренкой и, обливаясь водкой, читают пронзительные стихи об «Икаруш-

ке»? И назовет ли вообще тебя твой Кирилл Мурзилкой, Мурой или Мурзоном?

В отчаянной попытке заткнуть брешь Мура, однако, кидается в объятия к этому Кириллу — шикарные зубы, комсомольский подбородок с шикарной ямочкой, приглашение от американского университета с курсом лекций по социологии...

Нет такой науки, Мурзон! И Кирилла никакого нет. Ничего этого нету, кроме известной тебе (как медику) абстиненции, она же ломка!

Есть, правда, еще кое-что. Вернее, уже кое-кто. Небольшая рыбка с человеческим лицом и пальчиками общим числом — двадцать.

И ровно в тот день и даже час, когда Яша, подставив мартовскому солнцу лицо с нехарактерной для московской толпы улыбкой, шагал по перрону Казанского вокзала, Вера, замужняя и беременная женщина, ревмя ревела в горестных объятиях папы Бори возле таможенного контроля в Шереметьево. Кирилл, невольный муж и специалист по девиантному поведению, нервно ее поторапливал.

— Ты ведь приедешь, правда, папочка? — плакала Вера, и отец, похожий на старого-старого верблюда, осторожно трогал губами ее макушку, глаза, пальцы — точно, как в тот день, когда привез из роддома. — И потом ребенок... он ведь зато сразу родится гражданином Америки...

— Конечно, милая, это большое дело...

А кто, собственно, сказал, что ангелы не легкомысленны?

— Чего поведение? — Яша сморщился, как от паленой водки.

— Девиантное, если не ошибаюсь, — дядя Боря смущенно кашлянул. — Отклоняющееся. От нормы.

— Это у нее, дуры, отклоняющееся поведение от нормы!

— Не обижайся, Янчик, но если бы ты был здесь...

— Ладно, дядя Боря, знаю, все я знаю. С нормой у нас реально напряженка. Это точно. Именно поэтому она вернется, вот увидите.

После отъезда Веры дядя Боря как-то съежился и словно запылится. Работать не мог, все больше спал. Питался сосисками. «Старческая депрессия, от снотворных, — говорили врачи. — Надо бы лечь в клинику, пройти хороший курс...» «Курс? — усмехался осиротевший дядя Боря. — У меня один курс — на Митинское...» Все гладил, дрожащими пальцами разглаживал, пока не истер до дыр, красивое приглашение с тисненым штампом. Яша почти переселился к нему. Не всякому известно, как засасывает по колено, и по горло, и с головой черное бездорожье тоски, если нет поблизости живой души. Яша этой слякоти наглогался досыта. Вообще, чтобы знать и учитывать некоторые закономерности живой природы, не обязательно давать клятву Гиппократу.

Иногда посреди ночи старик входил к нему, присаживался на краешек дивана и тихонько спрашивал: «Ты правда думаешь, что вернется?» И Яша отвечал во сне: «Уверен».

Верочка звонила почти ежедневно. После этих звонков дядя Боря беззвучно плакал. «Знаешь, Янчик, у меня такое чувство... Она не говорит, но я кожей чувствую — ей плохо. А у меня сил нет даже в магазин сходить. Какая уж там Америка...» И снова глотал таблетки и спал плохим тяжелым сном сутки напролет.

У Яши тоже было такое чувство. Вернее — он просто знал. Знал так же точно, как если бы Верка крикнула ему из-за океана: «Атас!» Письма Мурзилки становились все короче, суше, безрадостней. «На Западном фронте без перемен. Я по-прежнему в сиделках. Америкашки без комплексов, чуть одряхлел родитель — сдают в богадельню, только так. Старцы вовсю романят, даже иногда женятся. А я таскаю горшки. Экзамен на врача очень сложный, проблема с языком. У Борьки совершенно папины уши. В смысле — дедушкины. Очень скучаю».

— Вы утверждал, — сказала надменная девка в посольстве, — что едете к близкому другу. Чем можете доказывать вашу дружбу?

Этого Яша не ожидал. Он вообще не любил кому-то что-то доказывать, тем более запахло трести масонским братством с Мурзилкой перед посольской дурой.

Но — скрипнул зубами и назавтра притащил пачку писем. Девушка, по-ментовски поглядывая на него, перебрала своим поганым маникюром всю пачку.

— Почему адрес переменялся?

— Когда переменялся? — не понял Яша.

— Близкий друг, так вы говорил? Ваш друг переменял жительство в другой район — как это... тручобы?

— Трущобы?

— О'кей, трушобы. Вы не знал? Вы не так близкий друг.

— Занимайтесь своим делом, мисс! — огрызнулся Яшка. — Меня есть кому воспитывать. Мы, слава богу, своих родителей на шею государству не сажаем!

— Боюсь, вас нет кому воспитывать!

Американская товарищ вернула почту и неожиданно широко улыбнулась:

— Это хорошо, что твой борода есть такой... дикий. Будешь в тручобах свойский.

До 208-й улицы доехал на метро, там взял такси. Квартал, где жила Вера, нашли с трудом. «Мамочка, — сказал таксист из Одессы, — по России соскучился?» Да-а... Такого Яша не видал даже у себя в Перово. Черные брандмауэры с выломанными пожарными лестницами. Помойные баки посреди узкой улицы. Зловонные лужи. Разбитые стекла в обглоданных до дранки домах, сорванные с петель двери, возле грязных подъездов — старики и кошмарные старухи на колченогих стульях. Преступного вида смуглые дети копошатся в мусоре.

— Извиняюсь, мамочка, за любопытство... Или планируете кого замочить? Так мне спешить некуда.

— Езжай, командир. Спасибо. Я мирный.

В этот миг из раздолбанного парадного вышла Вера — в халате, шлепанцах, прозрачной косынке поверх бигудей. В клапане на груди вроде кенгуриного кармана с прорезями сидел, свесив голые ножки и голову, щекастый человечек. Легко зашагала, размахивая по обыкновению руками, старательно обходя лужи, здороваясь со старичьем, весело что-то крича чумазым малолеткам. Почти поравнявшись с такси, остановилась, поправила сползшего набок Борьку. «Смотри, Бобик, машинка...» — сказала удивленно: машинка, видать, была тут редкостью. Бобик дремал. Яша хлопнул дверцей. Перед отъездом он побрился, и Вера его не узнала. Тощий парень с рюкзаком натянул панаму малышу на нос и сказал человеческим голосом: «Эй, гражданин! Не спи, замерзнешь!»

...Большой ученый бросил Веру через пару месяцев после рождения нового гражданина США. «Дарлинг, к сожалению, ты не выдержала испытания и оказалась ненадежным другом. Как жить с человеком, который плюет на твою работу и даже не может позаботиться о нормальных условиях для нее? Перевелся в Торонтский университет. Приезжать не надо». Вместе с этой выдающейся запиской специалист по девиантному поведению заботливо оставил на видном месте два билета на бродвейский мюзикл «Отверженные» и огромный счет за приличную квартиру на берегу океана. На адвокатов денег, разумеется, не было. Как и на дорогу до Москвы.

Яша находит приятеля-таксиста. С мстительной радостью от победы вольного интеллекта портофранко над сном законопослушного разума одесский лихач по чужим документам пристраивает москвича в свою хитрожопую мафию «желтых королей». Яша ишачит круглыми сутками, гоняя по Нью-Йорку, как по сибирским трактам. Когда до окончания визы остается два дня, Яша кладет в заветную коробку из-под печенья заключительную недельную норму — триста баксов. Еще на триста — прощальный подарок коллег-биндюжников — Яша ведет Мурзилку в «Тати» и одевает ее как человека — дешево, сердито и ловко, вплоть до трусов.

В последнюю душную нью-йоркскую ночь, взрыхляемую бесполезными лопастями вентилятора с помойки, ангел Верочка тихо заходит за ширму в Яшин закут. Голый, тощий, измочаленный Яша без задних ног храпит на полу, на матрасе, в позе бегуна, сбив простыни. Мура пристраивается рядом, невесомо целует товарища по оружию в затылок, вдыхает запах его ночного пота и засыпает. Так спят они до самого утра. Утром озадаченный Яков некоторое время смотрит на Веру, отчего та просыпается. «Ну чего ты приперлась, горе мое... — зева-ет “желтый король”. — Баня же!»

Дедушка, увидев великолепного внуцищу с фамильными ушами, не снес, как выразился все тот же Пушкин, восхищенья... На похоронах Вера и Яша стояли странно похожие, иссера-бледные, держась за руки, как сообщающиеся сосуды. Боль и беды

равномерно распределялись по их организмам. На поминках после первой же рюмки Яшу скрючила незнакомая опоясывающая резь. Жилистая тетка со скорой сказала, едва ткнув многоопытными пальцами под ребра: «Крайнее истощение плюс как минимум язва. Уходили паренька. В машину, быстро».

Санитаркой в реанимацию Верочку оформили в секунду и с восторгом, только что ручки не целовали. Об одном молила заведующая шепотом: диплом, диплом никому не показывайте, а то дадут нам по шапке!

Первые дни, пока колбасило особенно сильно, Мурзилка была на атасе неотлучно, дремала на стуле рядом с койкой, для Борьки же испросила разрешения спать в ординаторской.

Тем временем вернулась из рейса мама дальнего следования, твердо стоящая на земле обеими большими ногами, да, пожалуй, и руками. Оценила ситуацию, завалила сына апельсинами — на больничном белье они выглядели эффектно, как в знаменитом кадре из «Убийства в Восточном экспрессе». И, куя, пока горячо, приступила к решению квартирного вопроса. Как раз отмечали «девятины»: никого посторонних, она и Верочка — не до гостей. «Совсем без денег, а, Верунь? Сколько нужно — не стесняйся, люди свои. На первое-то время?» Вера прикинула — примерно как Шура Балаганов: «Бобке на зиму чего-нибудь... Рублей восемьсот?» Добрая Галя вытерла пальцем слезу.

— Ты ж моя птица! Восемьсот рублей! Вот послушай, я тебе, как мать, плохо не посоветую. Ты квар-

тиру-то продай. И купи подешевле. И будет у тебя чистого навару тысяч пять, а то и все десять. Да не рублей, дурочка, а долярей. — И осторожно, чтоб не спугнуть птицу, добавила ласково: — Я бы и купила... Мы ж соседи, все равно как родственники, должны помогать друг дружке. Только ты уж меня не грабь, люди мы небогатые — тыщ пятнадцать дам. Еще ведь ремонт делать... И это... Яшке-то пока не говори, больно он у нас нервный.

Всех делов стенку пробить — кого и когда на Руси это пугало?

Выйдя из больницы, Яша застал родительницу в фиесте ремонта. «Ну ты, мать, деловая... В Америке цены бы не было!» Треснул изо всех сил новой дверью и ринулся на Трубную, где в окружении трех славных семейств скромно осваивалась на своих шестнадцати квадратах Мура. С чистым наваром в четыреста, извиняюсь за омерзительное выражение, «долярей».

Потом, как мы знаем, на святую Верочку за ее святость повалились подарки судьбы. Новые соседи позавидовали-позавидовали, да и простили. Тем более докторша, рожденная для взаимопомощи и повсеместного гуманизма, всегда теперь под рукой. Днем и, что особенно ценно, ночью.

— А где, собственно, Вера Борисовна? И кто вы, собственно, такой? — старушка в шелковых пижамных штанах сверлит Яшу младенческими глазками.

— Ночной сторож. Вера Борисовна спит.

— Что значит спит! У моего мужа приступ жабы! Она же клятву давала! Гиппотамы!

Крыть нечем, и Яша, хоть и не успевший дать эту страшную клятву, сам идет разбираться с жабой.

Алкоголик Кособукин дед Матвей занимает у Яши до пенсии без отдачи. Режиссер с третьего этажа приглашает выпить. Инвалид по психиатрии, пожилая Нинка-певица, караулит Яшу во дворе и исполняет для него шлягеры семидесятых, за что он гладит ее по голове и велит идти домой. Нинка слушается беспрекословно.

Однажды в час вечернего уюта, когда Вера делала с Борщом уроки, а Яков консультировал по телефону клиента — компьютерного «чайника», в дверь позвонили. «Открою!» — он с облегчением прервал мучительное собеседование. На пороге предстал моложавый господин с тяжелой челюстью, словно созданной для хорошего, добротного апперкота. Фотографии Кирилла Яша видел, социолог мало изменился. Немедленно вспомнился ночной зэк Колюня. «Как похожи», — подумал Яков. И даже спросил: «У вас нет брата Коли?» Кирилл с улыбкой развел руками: «Прошу прощения, я хотел бы видеть Веру...» Яша шагнул на площадку и прикрыл за собой дверь. «Веру? Не думаю, что это удачная мысль. Но вы не представляете, Кирилл, как лично я вам рад. А вот прощение, увы, не состоится». В удар по соблазнительной челюсти Яша вложил все сложные чувства, накопившиеся за десять лет. Деревенское бездорожье, вонючие сени, саблезубый Колюня, идиотка Шура, неведомая

сибирская дочка, убогая халупа в Бронксе, штопаное белье, вентиляторы, телевизоры и матрасы с помоек, Гарлем, откуда едва выбрался живым, оставив шайке черных чуваков при *перьях* всю выручку, беззвучные слезы дяди Бори и его смерть, мать, гребущая под себя, как экскаватор, судна, богадельня, Нинка-певица, мелиус, кирпичиус...

— Кто там, Янчик?

— Опрос населения. Хватает ли нам зарплаты.

Изредка Яша приводит девушек. Рано утром девушка уходит навсегда, так и не поняв толком, кто тут кем кому приходится. «Что, Борщ, понравилась тебе моя знакомая?» «Вот еще! — Бобка скашивает глаза к носу и далеко высовывает язык, как бы его сейчас вырвет. — Дура». «Ну... В общем...» — Яша не спорит.

Верочка никогда никого не приводит, изматывается со своим милосердием, как марафонец. А к режиссеру на один этаж ей и самой подняться нетрудно. Мужик он неплохой, можно даже сказать — хороший. Только иногда уж больно достает совестью. Лежит, глядя ее ступню своей, курит и причитает: как Яшке в глаза посмотрю, как пить с ним буду...

Не объяснять же всего чужому человеку — да и кто поверит? Разве что какая-нибудь феминистка или те же отклоняющиеся митьки.

Стих об Икарушке

По небу полуночи парень летел.

Он крылья приделал себе и летел.

Он к солнцу подняться, дурилка, хотел.
И для тренировки ночью летел.
А звезды сверкают, и в небе тепло.
Напрасно товарищ покинул седло.
Напрасно хохочет, разинув ебло.
...Внизу под луной серебрится село.
Все выше, и выше, и выше Икар
Резвился — не парился и не икал,
Подальше держался, однако, от скал.
Но лучше б Икарушка в поле скакал!
Вот Солнце выходит навстречу Земле,
И трактор поехал по рыхлой земле,
И жарко Икарушке, словно в котле...
Чего не сиделось дурилке в седле!
Скажи мне, Украина, не в этой ли ржи
Полевки, жучки, и ужи, и ежи
Шуршат, и копаются в почве кроты,
Чтоб не навернуться с большой высоты?
С какого ты перся туда бодуна?
Закрылки трещат, и дымится спина...
Две ножки торчат. Космонавту хана.
И тихо шепнула страна: «Оба-на...»

MARIE D'ELLE

Правды не знал никто: Даже сам Комаров. Только мама его, простая и даже деревенская женщина Лида Ивановна, в прошлом механизатор, а ныне инвалид по женской части (как все механизаторы этого пола), полноценным материнским сердцем кое-как что-то учуяла, хотя точно сказать не могла. Говорила приблизительно. «Сыночка, — говорила инвалид Лида Ивановна, — трудно тебе с ей, нелегко». «Что ты, мама, — подобно поэту Окуджаве, прятал глаза Комаров. — С чего ты взяла?» «С того и взяла, — поджимала губы мать. — Чо ж я, не вижу? Больно умная, не нашего поля». «Почему не нашего? Мы с тобой тоже не дураки», — улыбался Комаров с высшим педагогическим образованием, биолог в широком смысле слова, преподающий в средней школе сперва ботанику, потом зоологию, а уж взрослым негодьям — страшный и двусмысленный предмет анатомию, что требовало от него сильного и быстрого ума: смирять жеребятину великовозрастных кретинов, у которых от слова «пестик»-то начина-

ется неконтролируемый выброс гормонов, а уж обсуждение вопросов человеческого пола и деторождения встречается ими как прямой сигнал немедленно трахать друг друга и вообще все, что шевелится, включая занавески.

Комаров давно уехал в город, но мать навещал регулярно на электричке и далее ревущим автобусом Львовского автозавода, а со временем обзавелся «запорожцем» по кличке «горбатый» в виде некоторой развалюшки рублей за триста. Впрочем, даже эти сравнительно ничтожные деньги (две зарплаты) были для школьного учителя Комарова утопическими, если бы не друзья жены.

Теперь о жене.

Строгая и чудесная девушка Вероника, вся в белом, с длинной белой челкой и бледными губами приехала завоевывать Москву из странного города Калининграда, который, по ее рассказам, раньше звался Кенигсбергом и был немецким до такой степени, что там похоронен философ Кант, сочинивший на общую беду нравственный закон внутри нас. Вместе с этой прославленной могилой город имени Канта и Калинина находится якобы чуть ли не в центре Европы. И сознание у Вероники было в этой связи совершенно европейским, то есть свободным, гордым и глубоко чуждым коллективистским ценностям. Вот почему она ненавидела общежитие, где из обихода фактически исключается одиночество. Вероника страдала от человеческой скученности даже больше, чем от советской власти, которую тоже ненавидела всей душой. В этой точке они

и пересеклись с Комаровым, который не мог простить советской власти в лице председателя их колхоза и других деятелей партийно-хозяйственного аппарата инвалидности матери-комбайнера. Конечно, Лида Комарова, в девичестве Комарова же (вся деревня была Комаровы и звалась Комаровка), Лида, понятное дело, по собственной комсомольской воле возглавила механизаторское звено девушек и женщин. Но если бы она не изъявила этого желания и потребности — ее бы, скорее всего, исключили из комсомола. Вот она и тарахтела десять лет на своем чудовищном, извиняюсь, вибраторе — все дела отшибла. Странно еще, что сын родился нормальный и вообще родился. У товарок-то проблемы пола и деторождения были закрыты раз и навсегда практически у всех.

Короче, студент-общажник Комаров нашел в белоснежной Веронике друга и единомышленника, несмотря на то что ее профессиональный уклон (французский язык и французская же литература) не был ему близок. Ничего он в этом не петрил. Причем Вероника в придачу к образованности еще и писала стихи. И вот уж эти-то проклятые стихи были для Комарова вообще недоступны. Потому что тщедушная Вероника с ее плоским носиком и тяжеловатой балтийской челюстью, по оценкам понимающих людей, была — жутко сказать — гений.

Итак, гений Вероника и обычный Комаров, учитель по призванию, познакомились в общежитии МГПИ имени Ленина (вуза, знаменитого, кстати сказать, своими поэтами) и к пятому курсу пожени-

лись. «Только вот что, Комаров, — сказала индивидуалистка Вероника. — Давай снимать квартиру, что ли. А то я скоро сойду с ума». И они сняли. Не квартиру, правда, а комнату. Что отчасти решало проблему изолированности и покоя, но, с учетом соседей, слабовато.

И зажили довольно славно.

Комаров работал в школе, где его недалекие ученики, разумеется, поначалу развязали кровавый террор. Однако биолог научился, слава богу, у себя в деревне держать удар и отбивал все атаки возмущенного разума. Например, корова с немыслимым бюстом, хлопая глазами, смиренно пищит под общий радостный гогот: «А вот, Юрий Петрович, как узнать — я в положении или еще нет?» Комаров, глядя на корову в упор нетривиальными, надо признать, синими глазами, спрашивает с презрительной акушерской холодностью: «Месячные когда были?» Орда ржет еще радостней, девка ссыхается до тридцать восьмого размера, а биолог, равнодушно стирая с доски выдающуюся по идиотизму картинку (нечто как бы пистолетик целится в нечто как бы устрицу), читает лекцию об оплодотворении, настолько высушенную, что даже такие великие слова, как «матка» и «сперматозоид», вызывают у жвачных присущее скотине тупое оцепенение. Очень скоро Комаров научился сбивать великовозрастную скотобазу с толку и ставить в тупик ледяной невозмутимостью, а также резкими переходами от невыразимой скуки к повествованиям о животных и человеке столь страстным и захватывающим, будто

это он сам, лично Юрий Петрович Комаров, создал все живое на Земле в шестой день творения. Или в пятый.

Вероника в школе не работала ни одного дня, зато вошла, как говорится, в обойму самых крутых поэтов «свежей волны». Ее первая книжка «Перформанс» вышла в Париже, и только после этого напечатали подборку в журнале «Юность», если кто помнит.

В маленькой комнате Комаровых (так уж мы будем условно их называть, хотя Вероника, конечно, сохранила свою индивидуальную фамилию Быстрицкая, не очень редкую, но яркую, что для молодого поэта существенно) — в светлой кубатуре на два роскошных высоких окна, глядящих в тенистый двор, гость не иссякал. Хозяйка из еды умела пюре и яйца всмятку, зато Комаров с детства наострился по части борщей, и котлет, и даже пирогов, он бы и рыбу коптил, и ветчину — было бы где и из чего. Но жили все бедно, жрачкой не интересовались (если ее не было), обходились консервами, селедкой, той же картошкой. Было бы выпить — а уж до нехватки на выпить не опускались. Американский славист Том (прозвищем, естественно, Дядя Том), большой друг Вероники и всей «свежей волны», с которыми они переводили друг друга и выступали втихаря по квартирам, мастерским и маленьким библиотекам, привозил с собой виски и здесь, в валютной «Березке» затаривался колбасами, рыбой, бананами — так что бывали настоящие пиры. Вот эти-то прекрасные друзья, поголовно в Веронику влюбленные, скину-

лись, кто сколько мог (недостающее внес Дядя Том), и подарили им к ситцевой свадьбе тот самый «запор».

Комарову, конечно, негде было готовиться к занятиям, проверять всякие там контрольные и прочую чепуху. Но это мелочи. В конце-то концов, никто из литературной братии, если честно, в нем особо не нуждался, и Юрий Петрович мог прекрасно поработать после уроков в учительской и прийти попозже. Всегда причем кстати, поскольку закупал по дороге пива, хлеба и сосисок, и все были ему рады. В том числе и Вероника. «Комаров! — восклицала она. — Где ты ходишь, бродяжка? Садись скорее, Сашка (Женька, Игореха, Томчик) будут читать новые тексты. Только будь другом, почисть быстренько корнеплоду!» Все необидно смеялись, и «бродяжка» шел на кухню, где соседка Раиса щурила от папироски развратный глаз и усмехалась: «Что, обратно сослали? Ладно, дурашка, иди уж к своим алкашам, наварю я вам картохи. Но с тебя, учти, причитается!» — и Раиса недвусмысленно толкала его грудью в довольно распахнутом халате.

Как, возможно, многие поняли, Комаров нравился женщинам. При всей удаленности от поэзии — чистый Есенин: синие глаза, черные ресницы, твердый подбородок, честная улыбка... «У Юрия Петровича один недостаток — он женат!». «Это не недостаток, коллеги, это ваше счастье». Однако женщин, кроме соседок и товарищей по работе, вокруг, считай, не было. Вероника общалась только с мужчинами, у некоторых были жены или подруги, но для этих Кома-

ров с его тетрадками и синими очами был исключительно *ее мужем*. У французов это является психологической характеристикой и социальным диагнозом: «*marie d'elle*» и носит характер тонкого издевательства. Но Комаров французского не знал и ролью «ее мужа» отнюдь не тяготился, принадлежащим ему гением законно гордый.

Огорчала Комарова бездетность «*d'elle*». Гинекологи на гении поставили, можно сказать, крест, на то они и врачи. Сама Вероника о детях не хлопотала: «Брось, Комаров, — отмахивалась от очередного доктора или, не дай бог, целителя. — Будет день, будет пища. Разве нам плохо?» Не плохо, думал про себя Комаров. Не плохо, но неправильно.

Одно время он, привыкший к личной ответственности за все, винил себя. Но потом (еще до ситцевого юбилея) так вышло, что у Комарова-то ребеночек родился. Посредницей стала отнюдь не Вероника, а совсем другая женщина. Летом десант учителей из разных школ страны съезжался в «Артек» делать козью морду так называемым пионерам. Идеология тогда, в начале 80-х, была еще на марше, но уже кое-где и на излете. И лагерь «Артек» был одним из таких отчасти пассионарно-романтических мест. Вероника тем летом рассекала со своей компанией по Крыму с длительным заездом в бардовский лагерь на Азовском море. Где уж и вовсе гремело Гуляй-поле. Так что Комаровы немножко друг друга подзабыли по молодости лет... Как уж там это выразалось в случае Вероники, можно только догадываться. Комаров же повстречал боевитую коллегу

Варвару — учителя физкультуры и чемпиона города Севастополя по стрельбе из лука. И с этой загоре-лой Дианой тесно подружился...

О, вожатский пляж с горящими золотом шалепинскими скалами на закате! О, заплывы на эти скалы по жемчужному морю и обратно, когда море уже зажигается огнем микроорганизмов, о которых Юра так подробно рассказывает Варечке... О, эта меткая стрелок Варечка на остывающих камнях, чуть дрожащая после долгих русалочьих игр!

В апреле деликатная Варя позвонила по межгороду Комарову на работу (к радости негодяев, его вызвали с контрольной) и непринужденно спросила, как бы он хотел назвать девочку.

Так Комаров стал тайным отцом. Реально помогать Варваре и их общей дочке Насте он, конечно, не мог, однако письма писал и звонил с почты по междугороднему телефону. Тем более Варя состояла в браке с каким-то спортсменом, и все внешне и визуально было в рамках приличий. А Комаров наконец убедился наглядно, что червь бесплодия точит исключительно Веронику, и немножко успокоился. К Веронике же, хоть и неловко это говорить, — поостыл.

Кто не мог успокоиться — так это Лида Ивановна.

Сноху она невзлюбила с первого взгляда — когда Комаров привез Веронику знакомиться со свекровью. За неумелость. За белые штаны. За мелкость и худобу. За умную речь. За болтовню вообще — та не стеснялась вмешиваться, когда мать говорила с сыном: «Лидия Ивановна, ну подумайте сами, зачем

ему устраиваться в вашу сельскую школу, он ленинский стипендиат, его в Москве с руками оторвут, да ему вообще аспирантура светит!» А сама гоняет своего ленинца в хвост и в гриву: то кофту ей подай от комарей, то кофею свари да забелить молочка принеси парного, то, стыдно сказать, купальник повесь на веревку! Чтоб мужик женины трусики выжимал! А уж наглая-то: «Вы бы, Лидия Ивановна, не будили нас, Юре надо отдохнуть, и вообще мы не привыкли в такую рань...» За водой ни разу не сходила, полы не вымыла, яишню не пожарила на завтрак. Наберет в огороде клубники и слопает всю прямо с грядки, как дитя малое. Но, главное, «трясогузка» не пожелала называть ее мамой: есть, мол, у нее своя мама, извините. Кому и когда это мешало, спрашивается?!

Вероника не любила ездить в деревню. Комаров оправдывался перед матерью: очень много работает, буквально ночи напролет.

— Где же это она по ночам у тебя работает? — усмехалась Лида Ивановна.

— Пишет, мама. Вероника — поэт, у нее уже две книжки стихов.

— Поэ-э-эт?! — мать стучала Юрку по лбу костяшками пальцев. — Дурачок ты у меня, сына. Чо городишь! Работу нашел, ишь! Наш Порфирий Комаров, что жена-то на болоте пропала летось, — тоже песни сочиняет, уж такие жалостные: дождусь ли, грит, тебя, моя милка, хоть на краю могилки... Что ж ему теперь — пусть корова недоена, картошка неполота, дом развалился — я поэт! Пушкин!

— Мамочка, — возражал Комаров с улыбкой. — Пушкин тоже нигде особенно не служил.

— Ну вот его и убили, — жестко заключала мать. — Убили ведь?

— Ну, убили, — растерянно соглашался Комаров. А что тут скажешь?

А как прошло три года со свадьбы, Лида Ивановна заволновалась всерьез: почему не рожают? И доставала Комарова все тринадцать лет его совместной с Вероникой жизни. Мы — инвалиды с опущением матки — и ничего, рожаем! А тут — видали, стишки! Валяется до полудня, а родить не может! Да не хочет, и все. Фря!

Простая деревенская женщина Лида Ивановна смотрела в корень. Вероникиными детьми были стихи, и в других она не нуждалась. Поэзия являлась содержанием жизни, безрассудной любовью, мукой и радостью, гордостью и болью, светом в окошке и тьмой бессониц — то есть тем, чем для обычных женщин бывают дети. Так на что эти сопливые дети ей сдались? «Возможно, ты и гений, — сказал ей как-то повзрослевший и кое-что понявший тайный отец Комаров. — Но психологически ты — урод». «Как всякий гений», — ничуть не обиделась Вероника. «Цветаева тоже гений. А как Мура любила — больше жизни и даже больше себя». «Зато двух дочерей сдала в приют», — легко парировала Вероника.

Спала она, кстати, не до полудня, а часов обыкновенно до трех-четырех вечера. Потому что писала по ночам, после гостей, выпив и покурив травки-ко-

нопли, к которой ее пристрастил Дядя Том. Так что с годами они с Комаровым естественным образом прекратили осуществлять свои супружеские права и обязанности, и вопрос о ребенке исчерпался сам собой.

Однажды вся компания отправилась на речном трамвайчике по Москве-реке. Лил дождь, народу было мало, и Вероника придумала выйти на палубу и по кругу читать стихи. Вся фишка в том, что читающий вылезал из-под навеса и промокал до костей. «Ну уж, honey, — запротестовал цивилизованный Дядя Том, — уж это лишнее». «Ты что, — нахмурилась Вероника, — даже такую ничтожную жертву не можешь принести?» — «Чему, бэби?» — «Да поэзии, черт подери твою американскую задницу!» И, стуча зубами, читали. Не из любви, разумеется, к поэзии, поскольку не были гениями, а исключительно из любви к Веронике. Потом все, мокрые, как выдры, фотографировались. «А теперь, — сказал один, — исторический кадр: музы! Давайте, девочки, чиииз!» «Стоп-стоп-стоп, — прервал съемку Дядя Том. — А Вероникина муза? Юричка, иди-ка сюда!» И в этот миг *marie d'elle* постиг правду. Она заключалась в том, что он... не то что не любит свою гениальную жену... Он ее, пожалуй, *ненавидит*. Да, вот это точное слово.

Потрясенный открытием, Комаров отправился в буфет выпить водки. У трапа, спиной к нему, в мокрых белых штанах, прозрачно облепивших маленькую попку, Вероника висела в объятиях Дяди Тома, обхватив его по-детски ногами и закинув сча-

стливую мордочку. Томми взглянул на Комарова поверх ее головы и, крепко держа гения одной рукой, прижал палец к смущенной улыбке.

После выпускных экзаменов, выпив с негодьями на посошок в школьном дворе, Комаров бежал в Севастополь. Его семилетняя дочка Настя, которую Варя привела на судьбоносную встречу в приморское кафе-мороженое, так ему понравилась исцарапанными коленками и заячьими зубами, растущими строго через один, что он первый раз в жизни после того, как отчим спьяну зарубил их любимую корову, заплакал.

Прекрасен был и Севастополь, весь белый и гордый, как Вероника. И Херсонес, чьи античные камни омывала зеленая волна, прозрачная, как чистые Вероникины глаза. Варя давно выгнала мужа, когда тот развязал и на радостях едва не спалил дом. И Комаров решил остаться на все лето. К концу августа покладистая и решительная, в мать, синеглазая Настя с полным основанием называла его «папа».

Возвращался, охваченный порывом развестись и забрать в Москву настоящую семью.

Окна квартиры в спальном районе, за которую Комаров боролся одиннадцать лет, были темны. На всякий случай позвонил из автомата. И в дверь тоже позвонил. В комнате никто не спал, не работал и не пил. Ночной, уже осенний холод из открытой балконной двери смешивался с вонью старых окурков, самокруток, немытой посуды и засохших консервов, усиливая скорбную необитаемость и вот именно что мерзость запустения. Комаров вспом-

нил морской ветер, под которым парусили занавески в бедноватом Варечкином доме, пахнущем вымытыми полами; вспомнил, как хохотала басом, морща конопатый нос, Настя; вспомнил Варю, с которой они прекрасно сумели дважды, и трижды, и многожды войти в то же светящееся микроорганизмами море и выйти из него, и хрустеть той же галькой, и дубль второй был едва ли не лучше первого. Он набрал длинный, восьмеркой принайтованный к кнехтам номер: «Подожди собираться, Варюша. Лучше я к вам». И Варя, как всегда, обрадовалась.

А Вероника не пришла и наутро. Вместо нее явились, брови домиком, Саша и Женя, а может, Игореха. «Приехал, старик?» — и обняли его по очереди. Слава богу, она не страдала, поверь. На скорости, лоб в лоб, оба всмятку. Она даже не успела понять, что произошло.

На похоронах Вероники Комаров встретил многих людей, кого до этого видел только на портретах или по телевизору. Она погибла в расцвете своего гения, говорили они. Мы оплакиваем не только любимого всеми нами человека, но и несозданные шедевры — ее нерожденных детей... Верóника, всхлипнул Дядя Том, как смогу забывать твой смех, твой фэнтези... Фантазии, ее гениальные фантазии, ее мечты, ее стихи, ее детский голос, ее чистота, ее сила, ее щедрость, ее муж. Ее муж, *marie d'elle*, — вот кто поможет нам. Комитет по наследию Вероники Быстрицкой — Юра, мы хотим, чтоб ты стал его председателем. Ты обязан нам помочь — как самый близкий, ты должен...

«Ничего я вам не должен, старики», — хотел сказать Комаров, но постеснялся.

От квартиры в спальном районе, звезды пленительного счастья, за которую бился, как лев, Комаров избавился с облегчением, не торгуясь. Дом в Севастополе не в пример было жалче. Зато хватило на новую «восьмерку» и приличную дачу по Казанке: с удобствами, и школа рядом.

Как войдешь с застекленной террасы в комнату — непременно упрешься в требовательный прозрачный взгляд. Фотографии Вероники повсюду, даже у Насти — маленькая Вероника в солнечных брызгах на озере.

Комаров возглавил комитет по наследию и добился, чтобы Веронику включили в школьную программу. Он любит Варю, но ему душновато с ней, в плотных слоях ее надежной, устойчивой обыденности. Бронзовая охотница, дитя гармонии стихий, оказалась всего лишь земной женщиной, устроенной согласно всем законам анатомии и физиологии, без каких-либо божественных уродств. По-земному душевна, уютна, как жаркая перина, благодарна, *слишком порядочна*, в конце концов. Тринадцать лет Комаров дышал разреженным воздухом фантазии. Рядом с Варей он испытывает нечто вроде кессонной болезни.

С Настей — другое дело. Эта пишет сказки, где действует волшебница Никавера: «Жила одна женщина, и у нее не было детей. И пошла она к волшебнице Никавере. И волшебница сказала: будет у тебя дочка, но ты должна любить ее больше всех на

свете. А если ты полюбишь еще кого-нибудь, я превращу ее в воздух. И вот однажды эта женщина взяла и полюбила дочку своих знакомых больше, чем свою. И Никавера превратила ее девочку в воздух. И однажды она сидит на берегу реки и говорит себе: «У всех есть общий воздух. А у меня есть еще мой маленький воздух. И когда его не станет, я умру...»»

Вероникины платья и брюки узки плечистой и бедрастой Варе, обувь мала, но Комаров не выбрасывает ни тряпочки. Настя подрастает, до смешного похожая на него. Но Комаров, будто в искаженном пространстве бреда, ищет в ней продолжения Вероники в ее излюбленных ангельски белых одеждах.

Он хранит Вероникины лыжи, побрякушки, записные книжки, любимую чашку и все фотографии, включая «собрание муз».

«Помни Веронику, — говорит Варя дочке. — Она была гений».

Вероникины друзья собираются в домике Комаровых на мемориальные дни ее рождения и смерти. Варя покорно слушает бесконечные рассказы о Веронике, нет-нет да и всплакнет.

— Хорошая девка, добрая, — выходя на крыльцо покурить, замечают Вероникины друзья. — Но, елки-палки, простая же, как валенок. И как он с ней может после... О чем они вообще говорят?

— Варешка, — улыбается Дядя Том, — спой русскую песню.

И Варя, не кобенясь, по-сиротски выводит высоко-высоко:

«В лунном сиянии снег серебрится,
вдоль по дорожке троечка мчится...
Динь-динь-динь, динь-динь-динь,
колокольчик звенит,
этот звон, этот звон
о любви говорит...»

Душу Варя отводит с Лидой Ивановной. Ездит к ней иногда без Комарова — одна или с Настей. Зовет мамой и трудится от зари до зари. Лида Ивановна обнимает ее, целует в щеки и вздыхает: «Слава богу, голубушка... А то была эта, поэтка, ни уму, ни сердцу, царствие ей небесное! Ты молись за нее, доченька, за непутевую».

Послушная Варя на завтра же идет в деревенскую церковь, покупает тощенькую свечку и просит у темного зацелованного лика: «Господи, прости меня, грешную. Вероника, оставь ты нас в покое, Христа ради».

БЕЛЫЙ ТАНЕЦ

Имени старика никто не знал и не интересовался. В микрорайоне он был популярен под кличкой Сальери. Об этом деятеле культуры и предполагаемом отравителе Моцарта старик любил рассказывать всякие небылицы и ссылаться на него, будучи угощаем мужиками из гаражей. Сам старик тоже был в прошлом вроде как музыкальным работником; говорили, может, даже композитором. Но это вряд ли. Уж очень ходил запущенный, с грязными завязками от кальсон из-под обтрепанных брюк, небритый и без зубов. Знали, что живет с пожилой разведенной дочерью, и эта сука то и дело выгоняет папашу вон.

Гнусным ноябрьским вечером Сальери засиделся в гараже у Толика, капитана милиции. Гараж у Толика теплый, содержится в образцовом порядке, ярко освещенный энергосберегающими лампами, инструмент весь — по чистым струганым полкам, даже телевизор маленький в углу. Старик иногда ночует здесь на топчане, хотя армянская жена Толика, сама продавец ночного магазина, возражает. Офу в гара-

жах побаиваются — все, кроме самого Толика, поскольку крышует ее бизнес. И может, если что, супругу пригасить. Вот и сегодня гаражная братва постепенно разбрелась по домам, засобирался и Толик, кивнув старику на топчанок: ночуй, мол, Сальери, обратно ты, похоже, в изгнании. Но тут приперлась Офа толстожопая, вызверилась всем своим зубным золотом: «Нашел себе бесплатный “Метрополь”, а ты, дурак, забыл — на прошлый Новый год дрель пропала, что, покрышки давно не покупал, ишак карабахский!» — «Ты, чурка! — пытался встать на защиту человеческих прав и достоинства старика Толик. — Да на что ему покрышки! Наворовала со своими хачиками до хренища, так думаешь, все такие!»

Ну, короче, послушал старик, виновато улыбнулся, прикрыв беззубый рот варежкой, и простился вежливо и деликатно: не ссорьтесь, друзья, пойду еще куда-нибудь, ничего. Спокойной ночи, приятных снов...

Покамест еще не так поздно, решил Сальери погреться в метро. Денег хоть и нет, зато пенсионная карта москвича у него всегда при себе. И вот он беспрепятственно проходит турникет и бредет к эскалатору. Даже вдруг, думает, и засну, убаюканный теплом поезда, и приеду в депо, как в прошлый раз, то оно и неплохо. Там тоже можно заночевать, если добрый дежурный. Или, например, в милиции. Правда, в ментовке холодно и кости ломит от твердости нар. Но все не на улице.

После эскалатора еще лестница. А между ними — площадка. Пересекает Сальери это простран-

ство, глядя себе под ноги, на тупые носы армейских говнодавов, которым сносу, слава богу, нет (внук после дембеля отдал), — и слышит неожиданные хрустальные звуки любимого романса «Соловей» Алябьева. Старик близоруко озирается и пеленгует женский силуэт, более подробно невооруженный глаз не берет. Ему ни с того ни с сего кажется, что это девушка из хора, которым он руководил сто лет назад во Дворце культуры типографии «Красный пролетарий» (хормейстер, а никакой не композитор). Солировала корректор Сима. Он занимался с ней индивидуально и провожал домой. Не более. Сима исполняла «Соловья» как настоящая артистка, тоненькая, вся дрожала от волшебной своей колоратуры.

Сальери замедлил шаг и пошел на голос. Тут женский силуэт выпустил на трепещущих крылышках последние верхние до столь высокого регистра, что у старика заломило в висках. Он приблизился к певице почти вплотную. На него снизу вверх по-детски смотрела маленькая пожилая дама. Вот именно, дама. Иначе не скажешь. Седые волосы аккуратно подсинены и уложены фестонами. На плечи спущена тонкая пуховая шаль. Вытертая до мездры котиковая шубенка расстегнута, под ней — пожелтевшая, в прошлом белая кофточка и черная юбка. Да старика донесся старинный запах «Красной Москвы» и рассыпчатой шелковистой пудры, которой пудрилась в молодости его покойная жена.

— Прекрасно вы поете, — сказал старик. — Очень сложная пьеса. Восхитительно.

— Благодарю вас, — застенчиво улыбнулась дама.

— Вы певица?

— Была певица. И танцевала! — блеклые глаза дамы блеснули. — Верите, била степ с гармошкой-концертино. Харьковская музкомедия...

— Да что вы? — удивился Сальери. — Не опера?

— Ну какая опера... — дама засмеялась. — Опера! Одни мечты... А вы тоже музыкант?

Старик задумался.

— Ну... как сказать... Имел отношение. А можно спросить... ваше, так сказать, имя?

— Ариадна... Собственно, просто Ида. — Дама развела руками. — По сцене — Ариадна Соловей. А так — Ида Зиновьевна. Будем знакомы, — протянула маленькую лапку ладошкой вниз.

Сальери осторожно пожал хрупкую ручку, потрянул головой:

— Попов.

Представляться по полной форме старик постеснялся. У него, конечно, были и имя, и отчество, но уж больно неуместные: Владимир Кириллович. Поэтому он объявил просто и коротко: «Попов». А любопытничать Ида-Ариадна не решилась.

Ида Зиновьевна жила неподалеку — на Пресне. У себя в метро она не пела, боялась, что встретит знакомых. А на пенсию не проживешь. Плюс сестра-инвалид. Сын и внуки Иды Зиновьевны давно уехали в Израиль, а она осталась. Сестру как бросить? С собой брать тетку дети не хотели. Хотя вот кому-кому, а уж ей-то, парализованной, там, в Из-

раиле, был бы чистый рай, там, вы знаете, такая медицина, это что-то.

Сальери слушал доверительные трели спутницы, наклонясь к ней туговатым ухом, поезд несяся, грохоча, по туннелю, и Владимир Кириллович мечтал, чтоб перегон длился вечно. Но полыхнул свет, призвали к осторожности, и старик, держа под локоть свою даму, вышел на перрон.

Старик исподтишка посматривал по сторонам, тайно гордился. «Смотрят люди, — улыбался, развернув сутулые плечи, — думают: вот старые супруги, прожили долго и счастливо и умрут в один день...»

— Пришли, — сказала внезапно Ида Зиновьевна. — Спасибо, что проводили. Если хотите, приходите завтра туда, на «Белорусскую». Я всегда там после девяти вечера, когда потише и молодежь уже уходит, там замечательные ребята играют, консерваторцы, целая группа, я им не хочу мешать... Придете?

Сальери молчал, понурясь. Он хотел сказать: «А нельзя ли сегодня? Нельзя ли еще сегодня побыть вместе? Нельзя ли к вам на чай, посидеть за столом, на кухне, поболтать? А? Нельзя ли, Ариадна-Ида Соловей?» И голубоглазая прекрасная дама прочла его мысли.

— Ох, — сказала она. — Вот идиотка! Вы же, небось, замерзли, бедный! Зайдем, сестра будет рада, гости у нас — редкость!

Раиса Зиновьевна сверкала вишневыми глазами, встряхивала стальной стрижкой и хохотала ярко-красным ртом. Она быстро каталась на своей

коляске по огромной, с точки зрения Сальери, трехкомнатной квартире и то и дело спрашивала: «А кто вам больше нравится, Попов? Я или Идка? Не смотрите, что безногая! Зато моложе на десять лет!»

— Вот ведь какая... — ласково качала головой Ида. — Все ей нипочем. Кстати, не ври. Не на десять, а на восемь.

— Ой-ой! Да кто считает!

Чай они пили в гостиной за круглым столом, покрытым твердой скатертью со складками от утюга. Из синих с золотом чашек. С вишневым вареньем. Владимир Кириллович, уже почти не стесняясь, раскрыл свое имперское имя и рассказал, что Сальери вовсе не травил Моцарта, а был его другом и учителем, при этом фрау Сальери наставляла ему с Моцартом рога. Сальери страдал и под старость ушел в монастырь. А музыку писал очень хорошую, но опередившую свое время, так как пытался отказаться от гармонии, почему его никто и не понял. А Моцарт смеялся над ним. Любовницей же Моцарта была не только жена Сальери, но и ее сестра. На ней он впоследствии и женился. Но потом бросил. И женился на той жене, о которой все знают. А эти сестры, жена Сальери и его невестка, любили Вольфганга-Амадея до конца своих дней. Поэтому Пушкин и написал свою маленькую трагедию, желая выгородить Моцарта, поскольку сам грешил с Александрин, сестрицей жены. «Эх! — воскликнула в разгар веселья Раиса. — Раз такое дело, не жмись, Идка, доставай!» И появился из буфета с гранеными стеклышками синий графинчик с при-

тертой хрустальной пробкой. И полилась из него пурпурная вишнебочка... А после Ида села за пианино и грянула какой-то в высшей степени легкомысленный фокстрот, Раиса же протянула руку Попову и объявила, хохоча: «Белый танец!»

Гостю постелили в столовой на диване. Такие же твердые, как скатерть, простыни, смущали его грязное тело в заношенном белье. А сестры шептались за стенкой: «Бедный, такой неухоженный. Вдовец, думаю. — А чего думать, Идка, бери старичка, а не хочешь, я возьму. — Ой, Райка, восьмой десяток размениваешь, а все детство в жопке играет! Правильно Сенечка тебя не взял в Израиль, ты б там всех евреев распугала, пустолайка...»

Сальери проснулся затемно, как обычно. Тихонечко встал, аккуратно сложил постель и бесшумно выскользнул из чудесного дома. Не хотел, чтоб сестры видели его утреннюю страшную старую рожу, затянутую за ночь сивой щетиной, как паутиной. Бежал, можно сказать, быстрее лани, даже в уборную не сходил, на дворе помочился за мусорными баками, не привыкать.

Валька домой пустила, буркнула даже: «Похавай там, гречка еще теплая». К утру она, как правило, отмякала, не исключено — стыдилась своего дочернего свинства.

Владимир Кириллович долго скребся в ванной, с наслаждением мычал под горячими струями. После отыскал лысоватый помазок и лезвие, выбрился до скрипа.

— Эй, Валентина! — крикнул тревожно. — Чистое дала бы!

— На что тебе? — удивилась Валька. — Жениться собрался?

— Помирать я собрался, а ты стыдись, хуже бомжа отец!

Изумленная отцовым непокорством Валька швырнула в приоткрытую дверь дырявые, но чистые кальсоны, древнюю, склеенную прачечным крахмалом исподнюю рубашу с поломанными костяными пуговицами, почти целые носки.

— Может, еще зубы вставишь?

— Может, и вставлю.

Старик натянул старинные диагоналевые брюки, висевшие на нем, как на чучеле, вытащил из комода растянутые послевоенные подтяжки, чистую сорочку с потертым воротничком, штопанную на локтях синюю фуфайку — чистая шерсть. Черный пиджак сюда никак не годился, да и страшный был, как гроб. А фуфайка — ничего, еще приличная, вязанная покойницей Катей, с голубыми полосами на груди и высоким воротом. Тепло, и галстука не надо, которого нет. Старик почистил дембельскую обувь, кинул грязное в стиральную машину. Длинное драповое пальто и раритетная шляпа превратили его в стильного старого джентльмена, Валька даже улыбнулась: «Ну, жених! На-ка вот», — и замотала поверх лацканов еще длинным серым шарфом.

В поликлинике веселый доктор быстро повыдергал старику последние черные пеньки и направил к протезисту. Там ему залили рот какой-то красной горячей дрянью, через полчаса отодрали от десен слепок и велели прийти через неделю.

— Видишь, Валентина, как выгодно быть в нашей стране пенсионером, — поучительно прощамкал вечером старик. — Обе челюсти на днях вставляю — и все бесплатно.

И хоть Валька от этих слов папашиных рассвирепела (будучи сама пенсионеркой и корячась при этом мастером в аварийной службе среди алкоголиков) — но такого красавца выгнать на улицу не решилась.

В гаражах о старике на третий день забеспокоились — не помер ли? Толик побежал на квартиру. И после рассказывал, выпучив глаза, что Сальери, дескать, открыл ему в Валькином халате, бритый и одеколоном шибает, как от пидора. Приструнил, говорит, Вальку, новую жизнь, говорит, начинаю, работать, говорит, пойду по специальности.

Зиновьевны недоумевали. Станный какой старичок. Так хорошо компанствовали, и вдруг — на тебе: ни спасибо, ни до свиданья. Раиса угрюмо долбила: «Проверь, проверь в буфете-то, насчет ложек!» — чем решительно выводила сестру из себя. Ида вечерами по-прежнему пела в метро, стала красить губы и все посматривала на эскалатор. Выпал первый снежок, люди спускались, усеянные стеклярусом капель. Когда к ней подошел высокий сутулый господин с аккуратными усиками и, приподняв шляпу, белозубо улыбнулся, Ида Соловей даже немного испугалась.

— Не узнаете? — спросил прекрасный пассажир. — Вам привет. От Сальери.

Они долго гуляли под крупными театральными хлопьями, заходить на этот раз Владимир Кириллович вежливо отказался, предложив с утра всем вместе пойти в зоопарк.

Сестры волновались, как школьницы. Раиса после инсульта из дому не выходила — вот уже около семи лет. Попов явился ровно в одиннадцать в сопровождении симпатичного милиционера. Толик на руках снес моложавую старушку с лестницы, следом спустили коляску.

О, это была по-настоящему счастливая прогулка. «Зоосад, зоосад! — щебетала Ида. — Райка, ты помнишь, когда мы в последний раз были в зоосаде?!» Впрочем, как выяснилось, не так уж и давно, в конце девяностых, с маленькими внуками. Раиса даже приехала для этой цели из своей Черноголовки, где вскоре похоронила мужа и слегла. Выяснилось, что тогда было хорошо всем, хотя Ида и Попов уже вдовели, но все еще было по-человечески, по-людски... Валька жила с законным супругом, хорошая, добрая баба, отца взяла к себе, вернулся из армии Вовик... Сенечка с семейством тоже был при маме. Раиса со своим профессором возраст игнорировали, купались в проруби...

— Как вот этот, — с усмешкой показала на усатого моржа, нарезающего круги по маленькому бассейну. — Ладно, точка, господа. Не в этой жизни.

До лифта Раису кое-как дотащили сами. Обхватив Сальери за шею, калека прижала губы к холодному хрящеватому уху и шепнула: «Вы мировой дядька, Попов. Жаль, не встретились лет сорок назад...»

Вот уж не жаль. Владимир Кириллович и Катя жили душа в душу, и не дай бог встретиться на его пути эта сумасшедшая Раиса, сорок-то лет назад! А с другой стороны... может, и правда. Попов был в любви вегетарианцем, сильного чувства не знал. Страсти роковые, когда от судеб защиты нет, так и не постигли его. Платоническая Симочка да Катя, верная лейтенантская любовь. Нормальный послужной список восьмидесятилетнего мужчины?

На следующий вечер Сальери, как Орфей, спустился к Иде Зиновьевне с белой хризантемой и длинным черным футляром. «Сюрприз, мадам!» — он щелкнул замками. В футляре отсвечивала старым лаком и латунию флейта. Играл старик все еще чисто и красиво, хотя и пресновато. Но на первом же романсе, когда, закрыв глаза, Ида глубоко и молодо призналась: «А любовь все живет в моем сердце больном...» — вечерние пассажиры стали останавливаться, и тетка в вязаном берете вытерла глаза, и все заплодировали...

Они стали работать вместе и собирали за вечер приличный гонорар. Заканчивала программу Ида всегда этим контрольным выстрелом «А любовь все живет в моем сердце...» Да-с. Глядела при этом прямо в глаза Попову, адресуясь, таким образом, непосредственно к нему.

Дальше Попов провожал Иду, и она смело держала его под руку. А у старика колотилось и падало в живот сердце, когда он думал, как сейчас они войдут в темную квартиру, и немедленно, точно в театре, всюду вспыхнет свет, и в прихожую выле-

тит на своей тачанке Раиса, и он поцелует ей руки, а она погладит его по щеке, и горячо посмотрит ему в переносицу, и оба вспомнят эти ее бесстыжие слова: жаль, что не встретились жизнь назад...

Старик иногда оставался ночевать у сестер, но старался все же не засиживаться. Проснувшись раз посреди ночи, он невольно подслушал нелепую ссору за стенкой, от которой стало стыдно ему за всех стариков списком. «Ты дурная, неблагодарная! — плакала Ида. — Ты всегда уводила у меня мужчин! — Сама дура, — лениво отвечала Раиса. — Кого я у тебя уводила, мы и жить-то вместе стали только на старости лет! — Ах, на старости? А кто переспал с моим капитаном в Гаграх в 56-м? А в Харьков приезжала, спала и с Пряхиным, и с Бурмистровым, со всеми, кого я любила! — Да кого ты там любила? За роли только и спала! — Ах ты мерзавка, уж Бог тебя наказал, а все мало! Теперь, когда я всего лишилась, встретился чудный, благородный человек — так ты и под него готова, под старика, шикса безногая! — Кто?! Я — шикса? Да моя мама — Перль-Мендл, из раввинской семьи, из Черновиц! — Ну и сидела бы там, кто ее в Киев звал? Такая же: семью разбила, папу увела! — Ой, Иделе, шла бы ты к такой-то матери. Вместе со своим стариком и его вставной челюстью. И с простатитом, и с маразмом. А меня отдай, пожалуйста, в интернат. Умоляю». После чего зарыдали обе, а Попов закрылся с головой и положил на ухо подушку.

Валька между тем нашла себе хахаля-охранника, здоровый бугай без шеи, типа братка из кино. По утрам шлепал, как есть, в натуральном виде на кухню и пил, запрокинувшись, заварку прямо из чайника. Старика приветствовал: «Здорово живешь, папаша, ох и поколение у вас — ну не жалает помирать, и хоть ты что!» А столкнувшись, не дай бог, у туалета, встречал Попова неизменной прибауткой: «Здрасьте-посрамши, не хотитца ли еще?» Словом, обстановка, близкая к полевой. Руки у Сальери стали дрожать, чего никогда не было, и, наконец, он вышел на «концерт» с твердым решением не возвращаться. Взял небольшенький чемоданчик с бельишком, флейту, пару фотографий... Спускаясь по эскалатору, заготовил фразу: «Я к вам пришел навеки поселиться...» Можно — по обстоятельствам — расценить и как шутку, и как угодно.

Иды еще не было, Попов стал настраиваться, шляпу снял, футляр раскрыл, стоит, насвистывает. Через полчаса тетка какая-то подходит: «А где ж ваша баушка, не захворала?» Тут старик и сам заволновался. Собрал манатки, в поезд, и чуть не бегом к милому дому на задах зоопарка.

Ида Зиновьевна лежала на высокой кроватке наподобие какого-нибудь дымка. Вся пепельная и бестелесная. Когда Попов вошел, сказала вдруг с улыбкой: «Арик, ну наконец-то, а то жду-жду...»

— Кто? — испуганно обернулся Владимир Кириллович к Раисе.

— Арик. Азарий, муж ее покойный. С утра не узнает.

Тут Ида с трудом приподнялась на локтях и заговорила горячо, моляще:

— Арик, родной, обещай после моей смерти жениться на Раечке. Не нарушай закона. Она молодая еще, ей нужен хороший муж. Обещаешь? — она схватила Попова за руку.

— Обещаю, конечно... То есть, что я... Ты же не умрешь, нет ведь, Катенька?

— Спасибо... Я... — Ариадна Соловей, как сухой лист, упала на подушки и стеклянными глазами уставилась в потолок.

Семен Азарьевич, надо отдать ему должное, приехал на похороны матери. На Попова сперва внимания не обратил, а потом заметил, что старик не уходит, спросил у тетки: «А это еще кто?»

— Наш с мамой друг.

— Он что, живет здесь?

— А тебе-то какое дело? — Раиса подкатилась к Владимиру Кирилловичу и положила ему ладонь на колено.

— А такое мое дело, тетя, — усмехнулся Семен Азарьевич, — что я квартиру продаю. Мне деньги нужны. У нас, ты знаешь, манна уже давно с неба не падает.

Владимир Кириллович побелел.

— Что?! Больного человека на улицу?

— Ой, не надо драматизировать, дедушка! Ваше слово тут вообще десятое. Она говорит, вы друг — ну вот и забирайте ее к себе. И дружите там. А своей квартирой я, наверное, могу распоряжаться? А? Без никакого даже раввинатского суда.

Семен Азарьевич дал Раисе на сборы две недели — пока будет оформлять разрешение на вывоз урны с прахом.

В конце февраля ударили вдруг лютые морозы. Левка Маца, старожил теплотрассы, проснулся с тяжелого бодуна, поздно, угревшись на своем любимом месте в развилке труб. Два противоположных желания раздирали его: отлить и попить. Оглядел мутными глазами владения — народ валялся без всякого смысла и желания перемен.

— Хошь курнуть, Мацончик? — нежно спросила сисястая Анжелка, вытуренная из девятого класса за блядство и тотальную неуспеваемость. — Мастырочку достала. Давай, а после поебемся?

Маца не ответил, прыгнул с трубы и отправился к выходу, высшее образование не позволяло бомжу гадить, где живешь. И другим запрещал. Собственно, законов было не так уж много. Своих в карты не проигрывать, в одиночку не жрать, Левке платить десять процентов с навару, чужих не приводить. Последний закон нарушил он сам и теперь шел, перешагивая через тела, простертые в вольных звериных позах, как в зоопарке, шел глянуть на новеньких, которых привел третьего дня. Левка Маца, интеллигентный человек, не чуждый милосердия, нашел этих придурков вот именно что в зоопарке. Старик сидел на лавочке, старуха — в инвалидной коляске. Мордами оба сизые, как голуби.

Три дня дед и бабка ничего не ели, только водки выпили, легли, где Левка указал, и лежали, обнявшись. Согревались. Вот как сейчас.

Старики крепко спали, не разжимая объятий, старушкина голова упиралась старику в грудь. Электричество смертельной страсти пронизывало и сотрясало их, разряды голубых молний забрасывали все выше, и выше, и выше, туда, где было уже окончательно, божественно светло, в прозрачную пустую вышину. Тучи и стужа остались внизу, как в песне — под крылом самолета.

Левка потряс старика за плечо и залез к нему во внутренний карман, ничего там не нашел, кроме карты москвича. А за пазухой, придавленный головой старухи, торчал черный футляр. Левка вынул флейту, дунул в мундштук, но звука не извлек.

— Вот, сволочи, учитесь, — обратился он к поданным. — Лю-у-уди, не то, что вы, твари: жили, как люди, и померли в один день.

ГОРОД САВЕЛОВ

Бывает, люди женятся, и будто бы это чистая случайность. Так это выглядит, что свободно могли они не только не жить вместе, но и в глаза друг друга не видеть и прекрасно себя чувствовать. И они сами это понимают и оттого смотрят друг на друга зверем, если вообще смотрят. Такие браки являются ошибочными и портят жизнь как самим супругам, так и их детям и всем окружающим в том числе.

У Миши с Машей обратный случай. Они рождены для того, чтобы никогда не разлучаться. Брак из тех, которые творятся якобы на небесах.

То, что Миша втрескался с первого взгляда, — это как раз естественно и нормально. Потому что учились они в знаменитой второй школе (матшкола № 2), и Маша легко получила статус самой красивой девочки, поскольку была единственной. Девочки редко склонны своим умом к точным наукам, хотя математика, скорее, все же не наука, а искусство. Если бывает точное искусство — то вот математика такое искусство: необходимых и достаточных идей,

форм и образов. Поэтому математики нередко пишут стихи. Миша тоже писал стихи. Увидев Машу в возрасте шестнадцати лет в десятом классе, он по дороге домой сочинил стихотворение:

В твоей пушистой голове,
Возможно, мыслей только две.
Но ты, как написал Борис,
И без извилин — зашибись.

К счастью, он ошибался, и у Маши все ее извилины и полушария, как внешние, так и внутренние, были развиты гармонично и прекрасно. И вот тут возникает некоторый вопрос: она-то что в Мише нашла? В этом полноватом и уже в свои шестнадцать лысеющем еврейском юноше? «Не понимаю, — спрашивал ее потом и сам Миша, — за что ты меня любишь?» «За то, что ты меня смешишь!» — хохотала Маша и щипала Мишу за толстый живот.

Впрочем, если честно, до красавицы Маша сильно не дотягивала. Больше всего она была похожа на одуванчик. Тоненькие ножки, тоненькая шейка и кудлатая белесая голова. И безбровое личико с крошечной кнопкой посередине. Прозрачные глазки в телячьих ресницах... Ну что еще? Да, попка, конечно, и крепенькие яблочки или даже маленькие дыньки-колхозницы под тесным свитерком. С этим, конечно, не поспоришь.

Как две абсолютно цельные и кристальные натуры, Маша и Миша немедленно зажили половой

жизнью, поскольку сомнений в том, что они поженятся, было у них ноль целых ноль десятых. И девственности сливочной Маша лишилась так же легко и опрятно, как все, что делала.

На мехмат Миша не прошел по инвалидности, как говорится, пятого пункта. И Маша тогда забрала свои документы (из двадцати проходных она набрала небывалый двадцать один балл, так как комиссия, сраженная грациозным блеском ответа, вlepила ей шестерку по устной математике). Миша тогда заплакал, потому что *так* его еще никто не любил. Даже бабушка.

Обе профессорские семьи — математическая Мишина и медицинская Машина сделали все, чтобы отмазать мальчика от армии. Но, имея на руках драгоценную справку о непроверяемой сезонной эпилепсии, Миша постеснялся ее предъявить и загремел по полной — в погранвойска на Дальний Восток. Как ни странно, невзирая ни на пузо, ни на лысину, ни, что противостоестественно, на прискорбную национальность, Мишу в полку, можно сказать, любили — как любили везде. Даже деды мучили первое время так, для проформы, без души и сердца. Даже старшина Буртяк применял к нему издевательства общего, а не индивидуального характера, как можно было с полным основанием ожидать. Простые армейские сердца Мишка завоевал, во-первых, своим незлобивым весельем, а также беспримерными познаниями о китайцах. Вот эти косоглазые через речку — на поверку-то оказывались потрясающим народом: мужчины их не отличались

от женщин, и с ними можно было спать, как с женщинами, а пытки были такие диковинные и страшные, даже Буртяку такое не снилось, и только недавно умер последний император, который перед смертью работал дворником, а очки они носили и писали на бумаге, когда предки Буртяка еще оправлялись у входа в пещеру и матерились знаками и невнятным рычанием.

Ребята жалели очень, когда Мишаню эти чудесные китайцы в ходе решения даманского конфликта ранили в легкое и его комиссовали вчистую.

Маша ждала любимого, работая у папы в мединституте в прозекторской. К лету Мишка поправился окончательно, и они оба в этот институт без труда и поступили. А со второго курса оба, как сиаамские близнецы, перевелись в физтех. Их совместно тошнило от лягушек и крыс, от их скользких кровавых потрохов.

Детей Маша пока не хотела, а Миша хотел только того, чего хотела Маша. И жили они — лучше не бывает. Работали в Курчатовском институте, катались на лыжах в Туристе, атакуя электрички на Савеловском вокзале и весело удивляясь, что это за город такой — Савелов, куда никто никогда не едет; летом ходили на байдарках, пели авторские песни, короче, физики-лирики, протоны-нейтроны-синхрофазотроны. И когда Маша на рабочем месте хлопнулась в обморок, все, кроме Миши, подумали об одном. Потому что, работая плечом к плечу с реактором, просто так, на нервной почве переутомления, в обморок люди не падают. Но Миша нацепил

шоры, и зажмурил свои веселые глаза, и заткнул уши и даже рот, как три китайские обезьяны, и не желал ничего понимать. В больничный коридор, где он провел ночь, сидя на стуле, вышел врач и сказал, что как же это вы прохлопали и куда смотрели в том смысле, что лейкоemia в одночасье никого не настигает, для этого вам и делают ежемесячные анализы, и вот интересно, где же они, вы что, вообще, в своем уме? Миша тупо переспросил: «Какая лейкоemia? У кого?» Он отстранил врача и вошел в палату, где лежала Маша, настоящий одуван, без кровинки, что называется. «Где твоя одежда?» — спросил, а врач, вошедший следом, закричал: «При чем тут одежда! Уходите немедленно! Ненормальный вы мужик!»

Но Миша никуда не ушел, а спустился в приемный покой, где было много народу и на него не обратили внимания. И там дождался следующей ночи и тихо прокрался в отделение, как кот, мимо спящей постовой сестры, вошел в палату и сказал: «Тс-с...» Надел на Машу свою куртку, взял ее на руки и вышел через балконную дверь на террасу, которая опоясывала весь корпус и двумя полукруглыми лестницами спускалась в больничный сад. Маша обнимала его за шею и придушенно хохотала. Буквально помирала со смеху, чем очень мешала Мише ее нести. На улицу они выбрались через помойку за пищеблоком. Буквально ничего не соображая, забыв про такси и вообще вернуться к действительности и, как говорится, на землю, Мишка едва не бегом с любимой в охапке домчал своими ногами до

дому — с Пироговки на Зубовскую, в общем, не так уж и далеко.

А дома он сказал ей: «Не верю я ни в какую лейкемию». А потом подумал и вспомнил: кино есть такое, «Принцесса». Там девушка рождает и выздоравливает.

И Маша поняла его с полуслова. И в ту же ночь они уж постарались как следует, Маша прямо вся билась в его руках, как рыбка. А наутро, едва проснувшись, сообщила: есть контакт. Точно? Если б не точно, не говорила.

Она выносила и в срок родила близнецов — мальчика и девочку. И анализы у всех троих были прекрасные. Маша выздоровела благодаря любви, что бывает нечасто, в отличие от болезней и смертей, которые приключаются по этой причине сплошь и рядом. И так они любили друг друга, Миша с Машей, что, не мешкая, назвали близнецов именами друг друга: Маша и Миша.

И продолжали жить, как в сказке, и жили в этом режиме еще восемнадцать или даже, точнее, девятнадцать лет. На близнецах природа тайм-аут не брала, росли они, можно сказать, вундеркиндами. Миша-маленький по общесемейной математической линии, а маленькую Машу ни с того ни с сего пробило на балет. И в шесть лет вместо того, чтобы, как все нормальные дети, поступить в среднюю общеобразовательную школу с усиленным изучением двух языков, она без блата, что само по себе удивительно и говорит о ее необыкновенном даровании, сдала экзамен в училище Большого театра. И в тринадцать,

склонив утянутую в пучочек головку к костлявенькому плечу и крест-накрест сцепившись с такими же дистрофичными крошками, уже цокала по прославленной сцене в пресловутом танце лебедят.

А в девятнадцать — первые гастролы, да сразу в Париже. И Маша солирует! Балет того же Чайковского «Щелкунчик», партия вот именно что Маши! И так она порхала, эта Маша в квадрате, такие винтила фуэте и светилась вся таким счастьем, что на нее, конечно, обратили внимание. Многие. В том числе один модный композитор, лет пятнадцать назад прогремевший в центральных газетах как изменник родины в поисках сомнительных привилегий «западной демократии». Этот русский маэстро давно преобразовал свою родовую фамилию Саганян путем простого усекновения, и, когда в интервью его порой спрашивали, не родственник ли он знаменитой писательницы, Ив уклончиво отвечал, что вопросы крови — большая загадка.

После спектакля Ив Саган явился за кулисы с клумбой чайных роз и позвал Мари в ресторан. «Нам нельзя», — пискнула Маша с таким искренним горем, что великолепный господин едва не прослезился. «Это мы уладим, мадемуазель». И пригласил всю труппу. (Сопровождающие лица, хотя еще и бытовали в гастрольных поездках, в основном шлялись по магазинам и, честно говоря, поплевывали на свои святые обязанности сквозь пальцы. Тоже люди, чего никто не ожидал.)

Балетмейстер настолько впечатлился утонченным красавцем-армянином, что, потеряв всякую

последнюю совесть и осторожность, намекнул: может, для начала сходим вдвоем, посидим по-мужски, поболтаем об искусстве? Неотразимый маэстро похлопал старого пидора по плечу: «Понимаю вас, коллега, но многие девочки впервые во Франции, будем великодушны!»

В общем, Париж Маша покидала, влюбленная по уши в своего первого мужчину, который провел дефлорацию по высшему разряду и неожиданно сам увлекся не на шутку.

Саганян зачастил в Москву. Прилетал на все зарубежные гастроли Большого, срываясь от семьи и с прочих якорей, как мальчишка. Маша выворотным шажочком неслась к нему в шикарные гостиницы, дрожа от страха и страсти.

И пришел день, когда маленькая Мари решилась показать любовника родителям. Брат давно уже знал о французе, даже видел его: все же близнецы скорее одно существо, чем два. И впервые не разделил чувств сестры. Само собой, ревность, это само собой. Но своими вундеркиндскими мозгами, а больше сердцем, брат понял, а больше почуял, что добра не жди. Принесет, принесет этот мажор, как змея, какую-нибудь беду в их милое гнездо.

Под добродушные насмешки мужа (что распчелилась, Манька, до Парижска все одно не дотянем. А то, может, ремонтик по-быстрому?) Маша-большая моет окна, вешает свежие занавески. Накрывает роскошный стол. Из фамильного кофра летят древние льняные салфетки с монограммами. И серебряные кольца для них! Заповедный чешский хрусталь!

Вечернее платье! После родов она сильно растолстела, и молния на спине не сходится. Маскируемся шляпью с кистями. Так, вбиваем опухшие ноги в ненадежные лодочки на шпильках... о, святая инквизиция! (Я чего-то не пойму, кто у нас невеста?) Все. Звонок.

Саганян обворожителен. Маша-большая по обыкновению хохочет, но смешит ее не Миша, который вдруг замолчал и только пьет французский коньяк залпом, под конец даже не чокаясь. И Маша-большая вдруг говорит с каким-то непристойным кокетством: «А не пойти ли тебе, Мишель, баиньки?» И «Мишель», и «баиньки», и эта, в сущности, блядская кошачья улыбка были здесь совершенно чужеродными и отчасти даже немыслимыми.

И так называемый Мишель побелел ноздрями и вышел вон. А Маша-большая совсем ополоумела. «Вы ведь, Ив, останетесь, правда? Куда ехать в такую позднотень?» Маша-маленькая вспыхнула, а мама, качаясь на шпильках, отправилась стелить «молодым»...

Брат Мишка ушел спозаранку, чтоб не столкнуться с французом в ванной. Машенька убежала в театр. Миша-большой, выйдя с чугунной головой утром на кухню, обнаружил, что жена мирно завтракает вдвоем с вчерашним красавцем, и прохрипел: «Гутен морген».

— Он что, спал у нас? — спрашивает Миша-большой часом позже, с излишней силой захлопнув за «бойфрендом» дверь.

— Ну и что? — отвечает Маша-большая вопросом на вопрос.

— Где?

— Ну где, Мишань, что за дурацкие вопросы?

— Ты хочешь сказать...

— Котик, а что это мы вдруг такие пуритане? Может, вспомнишь, когда ты мною овладел?

— Кто кем овладел еще... Ты не сравнивай! Я тебя любил, и мы собирались жениться, и вообще ему лет сорок, а ей двадцати нет! Он тебе в любовники годится, а не этой дуреке!

И что же Маша? Маша внимательно без улыбки смотрит на мужа и молчит странным пугающим молчанием. Всем своим видом давая понять, что эта идея не кажется ей дикой и абсурдной.

А Саганян, приезжая теперь в Москву, по-семейному останавливался у «тещи», как в незлую шутку называл Машу-большую наедине с маленькой. Квартиренка же Маши и Миши не менялась со студенческой поры, когда оба комплекта родителей скинулись им на кооператив. Спальня папы-мамы, столовая, она же с годами комната Миши-маленького, детская, она же комната Маши, и кухня, она же папин кабинет. С приездом маэстро (а приезжал он все чаще, ибо стал, как это теперь принято, очень на родине популярен, даже «Виртуозы Москвы» исполняли его скрипичные концерты) спальню уступали «молодым», мама перебиралась в детскую, Миша-маленький отстоял свой угол, а уж папа оставался спать там, где и ужинал, и работал ночами, — на кухне, под ритмичный гул холодильника.

Иногда Миша навещал любимую по-прежнему жену на узком диванчике в «девичьей». И шептал

ей: ну когда ж это кончится, Маня, я стал каким-то приживалом! А Маня гладила его по лысой голове и внимательно прислушивалась к тому, что происходит в спальне.

Маша-большая любила дочь без памяти. Сына, конечно, тоже, но дочку все-таки посильнее. Дочка, говорила она себе, всегда к матери ближе. Настолько близко, что мать незаметно для себя стала свою человеческую и женскую личность идентифицировать с дочкиной. Она смотрела на расцвет своей девочки и радовалась так, будто это ее собственное молодое тело, такое тонкое, гибкое, нежное, дарит, по всей вероятности, неземное наслаждение красивому мужскому телу. И духу, разумеется. Через Машу-маленькую Маша-большая страннейшим опосредованным образом постепенно и без ума влюблялась в Ива Сагана, он же Ованес Саганян, мужчина ее глупой, но, как выяснилось, голубой мечты.

Женский опыт сорокапятилетней Маши начинался, как известно, с Миши и им же заканчивался. Трудно в наше распутное время поверить, но и Миша знал и любил в сексуальном и прочих смыслах ее одну. Ну, что там ходить вокруг да около: не догуляли оба. Что Мише, однако, было не в тягость. А Машу, дочь именно что Евы, а не святой какой-нибудь девы Февронии, Машу все что-то беспокоило в области паха и жгло.

И когда Саган доверительно сообщил ей (раньше, чем своей Мари), что думает все-таки разводиться, потому что Мари, если честно, беременна, — Маша-большая взвизгнула, обняла француза

или армянина, что безразлично, с неженской силой и зарыдала. «Слава богу, — повторяла она сквозь икоту, — слава те, Господи!»

Значит, Ив будет всегда рядом. Всегда! Машенькина карьера, конечно, временно приостановится, но это пустяки. Миша... Ну что ж Миша. Никуда не денется, ничего, потерпит. Ради дочери.

Поделившись этой свежей новостью, Саган улетел в Париж. Миша-большой отнесся к наступлению новой эры холодно. Миша-маленький, в свои девятнадцать студент пятого курса мехмата, разослал тем временем вундеркиндские резюме по американским университетам, и его пригласили сразу два. Осенью он уехал, предварительно предложив отцу набить лягушатнику морду, от чего тот малодушно отказался.

Сагана ждали на Рождество, одновременно становящееся рождеством и для нашего святого семейства. Маша-большая ходила сама не своя, маленькая же балерина с огромным животом вообще не ходила, а только лежала, лелея обожаемый эмбрион.

В утро первого настоящего снегопада, когда грязные оспины в просевшем асфальте за ночь изгладились, и все вокруг покрылось свежей скатертью, и деревья во дворе побелели, и машины на стоянке закуклились, и детвора визжала, валяясь как бы в пухлых перинах, Маша вышла на кухню и не увидела мужа. Диванчик был аккуратно застелен, и на столе стояла вымытая чашка. Ни вечером, ни утром Миша не появился.

Маша-маленькая превентивно лежала в роддоме имени Крупской (у которой, к несчастью, никогда не было детей, и никакая любовь не побудила ее ленивую щитовидную железу выйти на плановый уровень женского гормона протестерона). «Где же папа?» — удивилась Мари через неделю. Мама стала вдруг резко сморкаться, бормотать что-то насчет эпидемии гриппа и быстро ушла.

Нет, она, конечно, не сидела сложа руки. Как предполагается, обзвонила все возможные организации и инстанции. Но без паники, аккуратно и чисто автоматически. Почему-то убежденная, что найти Мишу не удастся. И не почему-то, а потому, что в один из дней этого бесконечного и безумного снегопада, когда за неделю выпала годовая норма осадков, ей приснился сон. Они с Мишей, совсем молодые, почти дети, бредут в гору, увязая в снегу. С каждым шагом идти все тяжелее, и Маша кричит: «Подожди, подожди меня...» Но голос тонет в ватном облаке, и Миша не слышит ее беззвучного крика и ничего не видит. Им надо успеть на поезд, и Маша уже знает, что этот поезд уйдет без нее, и поэтому перестает напрягаться, падает лицом в теплый снег, думая только о том, чтоб не засыпало Мишины следы. И вот она уже не девочка, а Маша-большая, на руках у нее дочка, и с этой ношей она идет замерзшим руслом реки мимо редких серых ветел и стеблей сухой травы. Тут вдруг ей становится очень легко, длинными балетными прыжками она преодолевает большие полыньи. Маша-маленькая летит рядом в одной ночной рубашке. Тут они видят рыбака,

сидящего на льдине к ним спиной, и вот это-то и есть главная опасность. Надо подкрасться к нему незаметно и столкнуть в реку. Маша долго бьет рыбака какой-то шпалой, бьет, пока он не валится на спину. Она кричит дочери: «Бежим, бежим!», но та все стоит и стоит столбом. От ужаса у Маши подкашиваются ноги, а рыбак уже поднимается, и тогда она снова хватает дочку на руки и, спотыкаясь, тащит ее на станцию. Страшный рыбак сейчас настигнет их... Но впереди — Мишины следы, они ведут на грязный полустанок, и там как раз притормаживает поезд, и Маша делает рывок и цепляется за поручни, а Миша — изнутри вагона — разжимает ее затекшие пальцы. И она падает на заснеженную дорогу, по которой катится на трехколесном велосипеде ее маленькая дочка.

Родила Мари 25 декабря. В тот же вечер из Парижа позвонил Саган и обменялся с «тещей» поздравлениями. «Когда ты приедешь?» Она впервые обратилась к нему на «ты». «Не знаю», — сказал Саган. У жены ампутировали грудь. Сейчас я не могу ее оставить, ты же понимаешь. Он тоже впервые назвал Машу «ты». «Понимаю, дорогой», — заплакала Маша и повесила трубку.

Мишу объявили в федеральный розыск. Каждый день в разных городах убивали множество людей с неустановленной, как говорится, личностью. Бомжей или просто граждан без документов. Не все же берут паспорт, выходя за пивом. Некоторые умирали где-нибудь в лесопарке, в скверике, или в трамвае, или в ночном переулке своей смертью — от ста-

рости, от пьянки, от инфаркта, от любви. Был ли среди них Миша, никто теперь не знает. В том числе и я, почему и не могу, да и не хочу утверждать с уверенностью, что он именно умер, или погиб, или еще что-нибудь в этом роде. Он и сам не знает, что случилось с ним, когда в снежное утро, на белесом рассвете вышел без ключей из дому и побрел, побрел куда-то, пересек под развязкой МКАД и, проваливаясь в снег по колено, спустился по кособоку в лес. Где и исчез навсегда. Может, ушел в город Савелов, где никто никогда не бывал.

А маленькой Маше принесли в это время кормить ее девочку, и от счастья она забыла обо всем на свете.

семь
инфернальных
историй

БЕС В РЕБРО

Ближе к шестидесяти Марго потеряла всякий интерес к сексу. То есть, будем говорить честно, стала испытывать к этой сфере настоящее отвращение.

Ее муж, человек тоже немолодой, был, однако, еще ого-го-го. Женились оба по третьему разу, и наконец удачно. Даже очень. Их зрелая любовь оказалась крепкой, густого и богатого букета, как бархатный португальский портвейн. Взрослые дети от прежних браков им не мешали, и Марго с Андроном жили исключительно друг для друга. Андрон Ильич на удивление бескровно и при этом успешно управлял строительной фирмой, Марго тоже имела свой бизнес. В общем, чтобы покончить с формальностями, были эти двое богаты, практически здоровы и счастливы и прожили в таком режиме до серебряной свадьбы.

Андрон ничего не требовал от жены, кроме одного: исполнять супружеский долг еженощно (не исключая командировок, куда он в обязательном порядке брал Марго с собой). Что было даже отчасти

феноменально, учитывая его солидный возраст и ненормированный рабочий день. Не забудем и о такой детали, как его колченовость. Начиная свой трудовой путь монтажником, Андрон упал с лесов и раздробил колено. С тех пор нога у него не гнулась, и ходил он с тростью, бросая ее при ходьбе вперед и вверх, словно расчищал себе путь. Близким подругам Марго рассказывала, на какие забавные ухищрения в постели пускается в связи со своим неподвижным коленом ее супруг.

Когда ей было сорок, и пятьдесят, и даже пятьдесят пять, все это замечательно украшало и без того красивую жизнь. Поездки по стране, конечно, утомляли, но принимающие стороны закатывали Ильичу такие встречи, что со временем Марго даже полюбила эти совместные командировки. Из клиники, разумеется, пришлось уйти. Андрон арендовал квартиру в их же доме, и бабы записывались к Марго за месяц, а то и за два, так как была она гинекологом от Бога. «Если б вы знали, — говорила она близким подругам, — до чего я люблю эти письки!»

Но вот подкатило к пятидесяти девяти. И Маргарита Аркадьевна впервые осталась холодна к ласкам мужа. Нет, она, как положено, отвечала и даже исправно охала и постанывала, но в глубине организма образовалась словно некоторая пробка, которая не давала сладостному сюжету прорваться к кульминации и развязке. Уставший Андрон ничего не заметил, поцеловал напоследок все еще прекрасную грудь жены и, пробормотав: «Маргошенька,

детка... радость моя...», захрапел. Маргариту с ее бессонницей и всегда-то раздражала эта способность мужа без всякого перехода и промежуточного состояния после беспримерной активности проваливаться в сон. Иногда он начинал похрапывать, еще не успев закрыть глаза. Сейчас, когда он покинул ее в столь неравном бою, это показалось ей настолько чудовищным, что она даже поплакала.

Эпизод не был случайным. Ночи стали для Маргариты мучением. Она пустилась на хитрость. Зная, как стремительно и бесповоротно засыпает муж, Марго засела в ванной и улеглась, когда он прочно отключился. Проснувшись, по обыкновению, ровно в семь, Ильич размашисто одолел ее с тыла и сказал, уходя: «Чтоб это было в последний раз!»

В следующую командировку Марго ехать наотрез отказалась, изобразив сердечный приступ. По возвращении (через три дня) Ильич набросился на нее прямо в холле их огромной квартиры, повалил на маленький диванчик и все спрашивал: «Соскучилась? Солнышко... детка... ну, *как* ты соскучилась?»

В консультациях она не нуждалась, зная лучше других, что тут ничем, кроме притворства, не поможешь. Ее «возрастные» пациентки жаловались на то же самое. Все у нас с вами, объясняла им Марго, не от котлет, а от лет. Наставляла: сцепи зубы — и вперед. Если, конечно, зубы целы и мужа любишь. Отказывать нельзя, мужчина, будь он хоть принц датский, — грубое животное. Это его природа, и ты никогда ему ничего не объяснишь. Да он и не обязан

тебя понимать, без того забот хватает. Хочет — дай, не такая уж смертельная жертва.

И прописывала всякие безвредные гели и свечи.

Андрон (грубое, как было сказано, животное) не чувствовал никаких изменений. Даже после того, как Марго перестала изображать экстаз и лежала бревно бревном. Сцепив зубы — согласно собственным рекомендациям.

Но вопреки этим рекомендациям жертва в конце концов оказалась ей не по силам. Хотя она по-прежнему выглядела максимум на сорок пять, постоянные ночные муки и страх перед ними на фоне климакса привели Маргариту в клинику неврозов. Проболтавшись там целый прекрасный месяц, она вернулась домой свежая, как огурчик, и застала Андрона совершенно озверевшим.

После сенсационных безумств, опрокинувших мужа в счастливую летаргию, Марго привычно потянулась к тумбочке за снотворным...

Сережки с маленькими чистыми бриллиантами озадачили ее. Не было у нее таких сережек! Маргарита, крупная и роскошная женщина, носила крупные и роскошные украшения, бриллианты вообще презирала как камни бессмысленные и холодные, предпочитая веселые изумруды.

— Что это, Андрюша? — спросила после бессонной ночи.

Ильич вполне равнодушно глянул на брюлики.

— Серьги. А в чем дело?

— Это *не мои* серьги.

— Маргоша, ты с ума сошла. А чьи, по-твоему?

— Я думала, ты мне объяснишь.

— Марго! — Андрон задвигал желваками. — Я, кажется, не давал повода...

— Андрюша, я ни в чем тебя не подозреваю. Но это не мои серьги!

Андрон молча позавтракал и ушел, забыв трость. Днем позвонил:

— Может, из твоих баб кто оставил?

— Бабам я лечу не уши, а совсем другое место. Кроме того, меня месяц не было. Думайте, Штирлиц, думайте лучше!

Вечером нервно спросил прямо с порога:

— Точно не твои?

— За целый день можно было сочинить вопрос, во всяком случае, посмешнее.

В эту ночь Ильич впервые за двадцать пять лет не вошел на ложе к жене своей. То есть — взойти-то, конечно, вошел, куда он денется, но действий никаких не предпринял, долго ворочался и, наконец, попросил снотворное! Проснулся поздно, мрачный и расслабленный.

— Марго, я с ума схожу. Это какая-то мистика. Когда вещи пропадают, это можно как-то объяснить. Но когда беспричинно появляются...

Маргарита внимательно вгляделась в лицо, которое знала слишком хорошо. Нет, Андрюша не врал. «О господи! — мелькнула жуткая догадка. — Он забыл!» Марго знала, как исподволь раскидывает свои сети склероз: сознание вытесняет из памяти сначала неприятные события. Это уж потом начинают мочиться в хрусталь и прятаться от преследований КГБ.

Строго говоря, ее мало волновали возможные заходы мужа налево. Умная Марго прекрасно понимала, что после случайных факультативов верный Ильич только крепче будет ее любить. И была не рада, что затеяла эту разборку. Поведение мужа пугало ее. Уже неделю он не спал с ней — то есть в буквальном смысле: просил стелить ему в кабинете. Иной раз до утра она видела у него под дверью свет.

На этот раз с близкими подругами Марго делиться не стала — никому не надо давать повод для утешений.

Однажды ночью Андрон (постучавшись!) вошел в спальню и присел на краешек кровати.

— Маргошенька, я хочу тебе кое-что показать. Я нашел это под подушкой... — двумя пальцами Андрон Ильич брезгливо вытащил из кармана халата неправдоподобно маленький бюстгальтер. В его глазах кипела паника.

Маргарита со всей строгостью допросила домработницу. Оксана расплакалась: она боялась говорить... Давеча при уборке в кабинете у Андрона Ильича вымела из-под софы шлепанцы, женские, но не хозяйкины, типа детских по размеру и старые, сношенные... А еще до этого в ванной видала на полочке помаду, тоже *не нашу*, совсем из дешевых, вазелином пахнет... А шпильки сколько раз выгребала, а хозяйке шпильки-то без надобности с такой стрижкой... Уж вы простите, Рита Аркадьевна, может, сразу надо было, но духу не хватило...

Марго дала девушке флакон французских духов, которыми задаривали ее бабы, и впала в задумчивость.

По телефону развратные женские голоса стали все чаще требовать Андрона Ильича. Когда он брал трубку, там смеялись и давали отбой. Включив как-то раз телевизор, Маргарита потеряла дар речи. Рекламная красотка, тряхнув блестящей гривой, сказала, нагло глядя ей в глаза: «Эту краску я всегда использую, когда иду к Андрону. Смотри, Марго, ни одного седого волоса! Попробуй “Гарньер Париж”, ведь ты этого достойна!» Андрон Ильич кинулся вон, в кабинете что-то со звоном упало, раздались сдавленные рыдания.

К Марго ходила некая Люба с миомой. У Любы тоже был бизнес — она снимала порчу. Насмешливая Маргарита в эти дела, конечно, не верила, но после очередного осмотра взяла и рассказала Любе все.

— Ну что вам сказать, Маргарита Аркадьевна, дорогая моя. Если в общих чертах — это, конечно, демоны.

— Какие, к чертовой матери, демоны! — вскричала Марго возмущенно, но Люба усмехнулась:

— У вас есть более рациональные объяснения?

Объяснений не было.

— Тут важно знать, какие именно демоны наводят на вас *навь*...

«Господи, какой бред», — думала Марго, провожая Любу, пообещавшую что-то там «посчитать и поставить защиту». Культурный, интеллигентный

человек, докатилась до колдовства... Но с другой стороны — Люба-то тоже не от сохи, два высших образования, если не врет. А в мире столько необъяснимого! Элементарная вещь — зачатие, а что мы знаем о нем, кроме оплодотворения яйцеклетки? Демоны! Дожили...

Маргарита закурила. В пепельнице дымился окурок со следами вульгарной фиолетовой помады. Люба? Люба не употребляет косметики, не говоря уже о том, что не курит.

Люба между тем сидела у компьютера и расшифровывала астрогаммы. По всему выходило, что Андрон Ильич — человек простой и чистый, какие обычно и становятся добычей мелких, вредных — не демонов даже, а так, бесов. С Маргаритой сложнее. Она, как существо близкое к тайне рождения и смерти, обладала мощной защитной аурой, бороться с которой мелочи не по уму. В то же время вся фатумология Марго в графическом изображении выглядела переплетением рваных линий, спутанным клубком, внутрь которого бесу пытливому и изощренному пролезть — одно удовольствие, как детективу разбить хитроумное алиби. У Любы в картотеке был один такой любитель. Ловкий шутник Панург специализировался, с одной стороны, на расшатывании крепкой психики, с другой — обожал парадоксальные задачи, за которые нечисть его ранга обычно не бралась.

Люба кликнула таблицу заклинаний, вышла через Интернет в тонкий мир и начертила магический октаэдр. Панург попался довольно скоро, прикинувшись, впрочем, своим братом-близнецом, про-

стодушным Полишинелем. Он все отрицал, и хотя Люба провела с ним презабавнейший вечер, толку она не добилась. Тем не менее выставила на его пути экран, от чего подлец завизжал: «Ой, боюсь, боюсь!», показал ей длиннющий язык и еще кое-что и рассыпался на тысячу микроскопических кроликов. С минуту Люба понаблюдала, как мерзавцы размножаются, и с досады запустила на гадкий сайт парочку неистребимых вирусов.

А ночью Андрон Ильич встал в уборную и наткнулся там на голую девицу. Белокожая рыжекудрая сучка, вылитая Венера Боттичелли, сидела на унитазе и пялилась на Андрона с сонной улыбкой.

— Что, котик, не пьешь простамол? — спросила с хриплым смешком, после чего ухнула по-совиному, нажала на клавишу бачка и унеслась с водопадом.

Микроинфаркт Андрона Ильича опасности для жизни не представлял, но ему, разумеется, велели больше спать и вообще беречься, особенно по части курения. Симпатичный молодой доктор рекомендовал перейти на трубку. Вообще он был очень неформальный, этот доктор. Например, в свое дежурство угостил больного коньяком и поинтересовался: а как, мол, у вас, Андрон Ильич, с дамами? Тот вздрогнул и неожиданно сострил — видимо, движение коньяка по пищеводу в желудок и теплый резонанс в кровь и, соответственно, в голову вызвали к жизни несвойственный Ильичу юмор:

— Моя дама бита...

Доктор от души расхохотался. И сказал, продолжая смеяться:

— Это вы напрасно, дорогой. Именно в вашем возрасте и при вашей сухой конституции не следует себя ограничивать.

— Я и не ограничивал, — вздохнул Андрон. — Пока...

— Что пока?

— Да ничего. Разладилось, знаете ли.

— Стал импотентном — и гора с плеч? — опять развеселился доктор. И добавил с улыбкой: — Что-что, а это мы починим. В жизни всегда есть место подвигу. Поверьте мне, Андрон Ильич, маленькие радости не повредят. Сколько вам? Шестьдесят шесть? Ну, вы что, возраст Казановы!

...Оксана, крепенькая девушка с пшеничной косой вокруг головы, как у Юлии Тимошенко, торчала на стремянке, вытирая пыль со шкафа.

— А мы монтажники-высотники, — пропел Андрон Ильич, постукивая тростью, — и с высоты вам шлем привет!

Оксана чуть испуганно взглянула из-за плеча, и Андрон удивился, как не замечал раньше этих чудесных юных веснушек на милом носике и глупеньких блестящих глаз, а также полных икр и нежных жилок под коленом...

— Слезай-ка, кукла, — приказал он. — Дело к тебе есть.

Возражать домработница не посмела. Только пискнула:

— Ой, шо ж это... Рита ж Аркадьевна ж убьет...

С этих пор в доме воцарилась благодать. Марго, довольная, спала одна, Андрон только что не кукарекал: пошучивал, посвистывал, напевал и то и де-

ло осыпал любимую сумасбродными подарками. На шестидесятилетие сбылась ее мечта — домик у моря в Испании. Вдвоем они провели там совершенно упоительную неделю, после чего Андрон Ильич вернулся к делам, а Марго осталась еще на пару недель, не в силах покинуть волшебное побережье. За Ильича она была спокойна. Оксана отлично готовила, блюла чистоту и порядок, а привычки и вкусы хозяина изучила досконально.

ПИКИ КОЗЫРИ

Лодку сносило течением, но Гера, размечтавшись, то и дело бросал весла и глядел в черное небо, радостно изумляясь несметности звезд и затейливым конфигурациям созвездий. Сверкающая чешуя космоса отражалась в черной реке и странным образом умещалась в каких-нибудь ста метрах ее ширины, растекаясь, правда, по всей длине. А длина реки соединяла маленький родник на северо-западе страны и большое море на юго-востоке, а именно Каспийское, то есть пересекала всю эту страну, не по уму огромную, хотя и не бесконечную, как Вселенная. Волга — так называется река, а что означает это имя, никто понятия не имеет. То есть, может быть, какие-нибудь ученые люди знают, но остальные вряд ли задумываются. Гера же вдруг задумался. Он часто задумывался о странных вещах, особенно возвращаясь от Лизы. Например, его мысли нередко обращались к концепции бесконечности. «Бесконечная Вселенная, — думал Гера, и лицо его напрягалось от усилий воображения. — Бесконечная...

Это как же, пики козыри, — бесконечная? Всё — космос. Но есть же какое-то, пусть несусветное, пусть миллиард в миллиардной степени количество галактик, образующих космос, значит, есть у него и мера?» И Гера, один на реке, лишь два бакена видны на излучине, слева и справа, два белых колпака с красными огоньками, — встал Гера Бредень в лодке в полный рост, раскинул руки и заорал на всю Вселенную: «Бесконечнааааа! Лизааа! Ты моя бесконечнаяааа!!!»

А Лиза на своем берегу сидела на крыльце и молча смотрела в темноту, где растаял дрозд. Она была глуховата, хотя остра глазами, и долго видела Герку, уплывающего в космос реки. Но слышать — не слышала.

Комары тем временем разлютовались. Лиза, кряхтя, поднялась и ушла в избу. Спать не хотелось, Лизавета с трудом поднялась на чердак, где Герман оборудовал ей мастерскую, провел свет, набил верстаки и до потолка навалил холстов, лично натянутых им на подрамники. Раньше, в «догерманскую», как они шутили меж собой, эпоху, Лиза работала на досках — по ветхозаветным правилам. Шкурила, пропитывала льняным маслом и писала, за неимением всякой там киновари и лазури разводя дешевую строительную «краску масляную» олифой. После крыла лаком. Начала это дело уже закоренелой старухой, на седьмом десятке. Ноги распухли от вен, сделались синие, в шишках, болели — с фермы пришлось уйти. От нечего делать раскрасила ставни. Зашла в гости попадая, изумилась на красоту

ярких подсолнухов и хвостатых петухов, привела батюшку. Отец Димитрий щелкнул языком: «Где ж ты, Лизавета, такого белого с рогами видела? Ведь это олень?» «Олень? — усомнилась Лиза. — Видать, олень. А то я думала — конь. Во сне приснился». «Ты бы, вот что, душенька... ты б мне ликов написала — живем, сама видишь, как нехристи в лесу: ни Пантелеймона-целителя, ни Бориса и Глеба. Даже нашего углического отрока-мученика, ангела моего, — и то нету. Срам, а не храм!»

С убиенного царевича и пошла слава Лизаветы Морозовой: от деревни Буяны на левый берег, где жил самородок Гераня, оттуда обратно через речку, по косой — в Углич, и так зигзагом, молнией — до самого Ярославля, откуда ходит электричка аж в Москву.

На левом берегу никакой деревни, собственно говоря, не было. Отравлял когда-то воду и вселенную на сорок верст вокруг рыбзавод, лет уж десять, слава богу, как заглохший и накрепко задушенный крапивой, да лопухом, да гигантскими первобытными зонтами ядовитого борщевика, да всемогущей пырей-травой. Остались название на местной карте — «пос. “Рыбзавод”», частная коптильня богатого Ракова (кстати, разводил и раков на продажу) и несколько домов, еще не окончательно брошенных хозяевами. В одном из них, схоронив родителей, проживал в полном одиночестве самородок Гераня по прозвищу Бредень: во-первых, оно понятнее, чем Брейдель, а с другой стороны, идеально соответствует размещению Геркиных мозгов несколько набекрень.

Как отец помер, Гера дал мамке слово: после армии — прямиком в Москву учиться на ветеринара. Но в армию не взяли по причине легкого привета на чердаке. Некоторый незначительный сквознячок: застывал Бредень временами, уставясь в одну точку, и ничего про это потом не помнил. Что ли какая-то «лепсия»... В общем, не дождалась мать. Но и после вплоть почти до сорокалетия не оставлял Герман идеи о Москве, до которой всей езды часов шесть, включая катер на Углич. Между прочим, можно и всю дорогу водой, но это дорого, а Бредень жил истинно по-русски — в отличие от другого, правильного немца Ракова.

И жизнь эта была до того скучная, что кабы не водка — впору удавиться. Когда совсем жрать не было, нанимался к Ракову. Малость подзаколотит — и домой, ханку трескать да возюкать углем по стенам, что на ум придет: крылатых людей, допустим, с рыбьими рылами, ручную ворону Гертю, кота Фюрера, а также картинки из головы или из книжек, которые еще от деда остались, немецкие, за что Ивана Карловича и шлепнули, как полагается, в 1942 году. Киндеру Герке, решительно порвавшему с фашизмом, всю печатную немчуру отец синхронно переводил вслух. А уж после сирота на-тащил русского чтива отовсюду, где бывал. Но где он бывал-то, недотыкомка, дальше Ярославля? О, до Нижнего раз прошел на моторке! Там, на пристани, у него мотор с лодки и скovyрнули, покуда по городу шлялся да купал по дешевке у стариков и старух всякую книжную дребедень. Пер

обратно на веслах до глубокой ночи, едва пупок не порвал.

— Позоришь ты, Герман, фамилию, — выговаривал ему Раков. — Живешь, как русский бродяга. А ведь папаша такой дом сладил, да и у тебя, подлец ты, руки золотые! А крыша, полюбуйся-ка, течет, крыльцо село. Рамы не закрываются! стыдно, Герман. Гляди, как у меня, — Раков плавным жестом обводил свои уголья, кирпичную хоромину в три этажа, цветники, садок, коптильню. — Кто мешает, Бредень: отстроился, женился, ни от кого не зависишь... Я б ссуду дал, процент возьму в память дружбы с папашей твоим чисто символический...

— Женись сам, Отыч, — хамил вдовцу Бредень. — А я человек вольный, мечтательный. Хрен ли, пики козыри, залупаться! И так сойдет, авось.

— Люмпен ты, Гера, — плюнет в сердцах богатый Раков и пойдет прочь, вздрагивая пузом, кормить падалью одноименную продукцию.

А Герман шарил в драном, с перечерканными красным карандашом портретами, энциклопедическом словаре на букву Л, с интересом застревал по дороге на статье «Люксембург Роза», в слове же «люмпен» не находил ничего плохого.

И поскольку Бредень все никак не продвигался к Москве, Москва лично явилась к Бредню. Летом приехали какие-то ребята с плоскими ящиками, заняли с разрешения Ракова пустующие избы и рассыпались с утра по берегу. Пораскрывали свои ящики, спустили с-под дна ножки на винтах. Образовались столики с вертикальной подпоркой. На

ней ребята, как один, закрепили приколотенные к деревянным рамам белые простыни. Все это называлось, узнал вскоре Гера, «этюдник», «подрамник», «холст».

На холстах из смешения красок возникала река Волга, у каждого причем своя, знакомые и вместе с тем новые берега, стрижи в небе, ракиты, луг и стога на нем.

— Художники? — спрашивал Гера, подбираясь сзади ко всем по очереди. — Рисуете? Красиво. Но ты глянь, глянь... Как тебя? Костя? Я Герман, — пожимал грязную руку. — Глянь, Костян: скос, вишь, рыхлый какой и синий от стрижиных гнезд. А ты, пики козыри, рыжим мажешь. Охра, точно? Во, охрой. Надо бы с белым намешать, фиолетовый добавить... Дай-ка... — и Бредень вынимал из пальцев потрясенного Кости кисть, проходилась легко по палитре и, словно всю жизнь только этим и занимался, жирно, смачно швырял мазок за мазком на аккуратный жиденький этюд. Пока Костя приходил в себя от разбойного нападения аборигена, береговой отвал встал дыбом, задышал мощно всей почвой и отразился в блеклой воде, точно бурные размашистые Геркины мысли — в стакане мутного самогона.

Тем же вечером толпа студентов под командованием пожилой тетки, всем обликом похожей на треснувший камыш, из которого лезет густой изжелта-белый пух, ввалилась в развалины Рейхстага, как оскорбительно называл богатый Раков дом Германа. Художники с уважением выставили водки и колбасы, хлеба, частичка в томате, липкие бурые

глыбы пряников — все, чем порадовало ближайшее (но отнюдь не близкое) сельпо.

Косматая сухая тетка выяснила, что Герману тридцать семь лет, что до этого дня он ни разу не держал в руке иную кисть, кроме малярной, под по- нукания матери изредка освежая оконные рамы. Что любит философствовать на досуге, а досуга у не- го немеряно, то есть до хера. Что планирует наве- даться пока в Москву, а уж оттуда двинуть и куда по- дальше. Что в настоящее время в целях подготовки к большому межконтинентальному броску читает «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» американского писателя Марка Твена. Знаете та- кого?

Ребята свысока посмеивались. Пожилая тетка, главная, видать, ихняя художница, холодно огляде- ла молодежь: «Чем ржать, бездари, поучились бы, что значит живопись. А вам, Герман, надо рабо- тать». «Снова-здорово... — с тоской подумал Бре- день. — И эта туда же». «Чо работать-то, пики ко- зыри? Мне и так нормально. Слава те, Хосподи, на паперти, небось, не стою». — «Я имею в виду — пи- сать, маслом писать. Рисовать. Учить вас нечему, но писать надо. Каждый день. Пришлю вам краски, ки- сти. Книжки по искусству. Завтра, кстати, занесу кое-что».

На прощание Ирина Соломоновна сказала: «У ме- ня нюх, Герман. Мы о вас еще услышим, слово даю». И спросила уже от калитки — как, мол, фами- лия-то?

— Ну Брейдель...

Тут уж расхохотались все.

Назавтра Ирина, как обещала, принесла толстую книгу «Письма Ван Гога». На обложке портрет мужика с перебинтованной башкой. Зуб, видать, болит.

Сами письма Гера покудова читать не стал, ошеломленный картинками. Вот их аж под лупой исследовал: как устроены эти солнечные воронки, и лиловая земля, и синие лохматые цветы в кринке под конфетным названием «Ирисы».

Ирина Соломоновна страшно удивилась, что Герман не бывал на правом берегу и ничего не слышал про Лизавету, «настоящую боярыню Морозову, гениальную старуху». И тут же сказала: «Поехали, Брейгель, познакомлю». «Брейдель», — хмуро поправил Гера.

Пятистенок Лизаветы почти висит над рекой и, если б могучие корни вековой сосны не прошили под ним глинистый берег, как железная арматура — бетонную плиту, давно бы рухнул. Раннее солнце бьет прямо в окна, по-музейному освещая наличники и распахнутые ставни в густых зарослях неземных, то есть как раз неистово земных цветов, населенных такими же птицами, оленями и золотым кудрявым зверем, похожим на льва, однако с копытами.

Пока Герман привязывал лодку к мосткам, Ирина Соломоновна скрылась в избе и тут же выглянула из окошка: «Давай, не стесняйся, Брейгель». «Небось, глухая», — решил Герка и больше поправлять не стал.

В темноватой прохладной горнице состоялась встреча самородков, срубившая Германа буквально обухом по темени, или, лучше сказать, подобно солнечному удару.

Лизавета стояла перед ним, прямая, ростом под притолоку, свободно бросив вдоль тела длинные жилистые руки. На исподнее накинута меховая безрукавка. Босые ноги повыше щиколоток изрыты шишковатыми синими венами. Черные, без седины, волосы гладко забраны круглым гребешком. Загорелая шея плавно, по-лошадиному переходит в широкие плечи. Глубокие морщины взрезаны желтыми лезвиями глаз. Татарская кровь бесится на высоких скулах, в широком вырезе хрящеватых ноздрей.

— Елизавета Степановна, — говорит Ирина, — голубушка, полюбуйте́сь на красавца! Сосед, а храма вашего даже и не видал, а?

— Чай, недалёко, — поднимает Лизавета лысоватую бровь. — Пойдем, коли интересно.

Усмешка морщинистых губ высоко открывает десны и желтые зубы. Одного переднего не хватает. «Вставляю! — задохнувшись восторгом, обещает себе Гера. — Золотой поставлю, месяц капли не выпью!»

Скрывается за ситцевую занавеску, отчего сердце Германа немедленно, будто след копыта, наполняется талой тоской. Но тут же и выходит — длинная штапельная юбка в горох, шаль на плечах.

Идет впереди, осторожно ступая большими больными ногами, подол юбки быстро намокает от росы. Крупное тело почти не шевелится, Лизавета точно плывет над мокрой травой.

Гера как увидел доску с убиенным царевичем, так и выпал из мира. Стоит, не моргает, заledenел весь: толкни — упадет и, как стеклянный, расколется на куски. А Ирина Соломоновна, нахмурясь, то в лик вглядится, то в Геркину оцепенелость.

— Вы что же, и знакомы не были? — шепчет в большое туговатое ухо. «Боярыня» не слышит, сама пораженная.

Отрок грязен лицом от застывшей крови, и, кабы не отрок он был, а взрослый дядька вроде Германа, эти струпья гляделись бы запущенной Геркиной щетиной. В голубых, окруженных тенями глазках — тихая мечта, не испуг и не боль, а недоумение: кто ж это меня, за что, я ведь еще и не пожил, люди добрые. Тонкая кадыкастая шея, худые плечи под выгоревшей рубашкой, васильковые штаны кое-как заправлены в сапоги. Светлый, узкий, во всю длину доски. И Борис с Глебом, лобастые братья-мученики, тоже на одно лицо с Германом, только постарше. Даже льняные длинные волосы у всех троих против канонов подвязаны на затылке в хвостик.

Женщины вышли из сумрака на белый свет, перекрестились, и художница Ирина давай расспрашивать, отчего лики так на рыбзаводского мужика похожи. А у Лизы один ответ: во сне приснился.

Герка тем временем от краткого припадка отошел и без сил свалился на пол. Полежал маленько и последовал на крыльцо навстречу своей люмпенской судьбе.

Уезжая, художники оставили «Брейгелю» в подарок кистей штук пять и от каждого — по тюбику

краски. Марс, охра, кадмий, краплак, ультрамарин — от земель до белил. Работай, Брейгель. Все это богатство Герка навалил в лодку и отчалил к расписному пятистенку. Здравствуй, мол, Лиза, гостинцы привез. Целый день сбивали подрамники, как учила Ирина, натягивали и грунтовали старую холстину из Лизиных сундуков. А после Бредень наловил рыбы, и они с Лизаветой по-семейному вечеряли. А ночью Гера посадил «боярыню» под лампу на табурет и к пяти утра написал картину, назвавши: «Лизавета хочет спать, а Герман не дает».

Ирина Соломоновна слово сдержала с процентами. Теплой осенью, успев до бездорожья, приехали на двух машинах слегка поддатые бородачи, выгрузили пирамиду коробок и пошли смотреть Геркину живопись. Не совсем понятно тихо меж собой базарили, один в пестром свитере все хлопал по ляжкам и хрипел: «Твою мать, ох, мать твою! Откуда что берется!»

Лысый с сивой бородой, пока остальные ворочали так и сяк холсты, таскали на свет, ставили, прислоня к стене, в ряд, налил себе и Герману коньяку (тот лизнул и пить не стал, лысый протянул назад руку, выхватил из воздуха пузырь «Флагмана»), накатали.

— Вот, значит, Герман... как по батюшке-то?

— Ну, Мануилыч, — удивился Гера.

— Стало быть, Герман Эммануилович, хотим купить у вас кой-какие работы.

— За деньги? — прищурившись, уточнил. — Или так?

— За деньги, дорогой, за деньги. Вот этот, скажем, пейзаж — сколько хотите?

Герман приосанился.

— Хорошая, между прочим, картина. Называется «Последние избы».

Позиция «хорошо — плохо» к живописи Брейделя подходила так же, как «умно — глупо» к смене времен года. Он безжалостно, как бог на душу положит, швырял на холст комья красок, давая соединительной ткани воздуха, солнца, грязи и ветра разрастаться между этими, так скажем, «суставами» или «костями» по личному усмотрению стихии. Одна лишь пьяная сила и страсть движения управляла его существом, как плясуном камаринского в разгар свадьбы.

— Так сколько? Пятьсот? Шестьсот? Соглашайся, Герман, приличная цена.

Увидев, как вылупился Герка на дикие цифры, лысый, ошибочно смутившись, тут же поправился:

— Ну-ну. Семьсот — нормально?

— Семьсот рублей за эти халупы? — прошептал Бредень. — Да их за сотню на дрова раскатать — и то не всякий возьмется!

Купец сообразил, что чуть было крепко не обмислился и баксы в этой части России, по-видимому, еще не шибко ходят.

Так знаменитый впоследствии Герман Брейдель, чьи ураганные пейзажи и кипучие натюрморты, а также портреты Лизы («Mon ami Liza» — восхищенные остроумием русского, читали в каталогах буржуи) уходили на европейских аукционах за десятки

и сотни тысяч евро, не говоря уже о долларах, впервые заработал на своей грохочущей живописи семьсот рублей. Он прожил на Рыбзаводе еще двенадцать лет, написал около пятисот сумасшедших работ и с необъяснимым упорством не брал больше тысячи — рублей, господа хорошие, вот именно, пик козыри, что рублей.

Но не о деньгах речь, не о славе и даже не о даре Божьем. То есть как раз о нем. Потому что любовь, которая настигла Геру в низкой горнице при взгляде на старуху с тигриными глазами, а ее, Лизавету Морозову, еще раньше, в вещих снах — что это, как не Божий подарок, разделенный Им по справедливости, поровну между мастером и мастером.

На Лизавету смотреть приезжали со всех концов земли. Свою живопись она не продавала. Дарить — дарила, если гость нравился. Брала так же натурой: прежде всего хорошими дорогими материалами — красками, кистями, грунтованными холстами и картонами. Рада была теплой одежде, в том числе шубам, цены которым не знала, провианту, вкусным винам, пристрастилась вдруг к португальскому портвейну. Русский коллекционер из Амстердама в обмен на доску метр на полтора (ангел с петушиными крыльями, пляшущий на песчаной косе среди губастых рыб) пригнал Лизавете в подарок «лексус»-вседорожник. Ни она, ни любой ее Бредень садиться за руль, ясное дело, даже и не думали. Свирепая машина молча ржавела, пока рачительный Раков не переправил автомобиль паромом к себе. Любовники легко уступили «танк» за десять кубометров дров

и пару копченых осетров плюс литровая банка икры впридачу.

Ни царя в голове, ни закона в сердце, семя гадово, *полюбовнички*.

Вот и сказано слово. Старуха Морозова и чудик Бредень, не разменявший сороковника, что ни ночь, тонут в Лизаветиной перине, и коричневая, словно кора дуба, рука с обломанными ногтями гладит впа-
лый безволосый живот и гладкий корень, что под ним, корень слова «любовник», а также «любовь» и «любимый»; тяжелая нога в шишковатых венах закинута на тощее бедро, и заросший щетиной, пропахший водкой молодой рот ощупывает каждую морщину на татарских скулах, и тела сминаются, перемешиваются, как краски на палитре, зéмли с белилами, веронез лимонный с охрой золотистой, скручиваются и взрываются на синёной простыне с подзором под стон продавленной панцирной сетки, той самой, на которой 69 лет назад родилась бобылка Лизавета Степановна, не тронутая, кроме Христовой, мужской лаской, как и Бредень — женской, не считая матерей — своей и той же непорочной Богородицы.

Раков по праву старшего и богатого, он же умнейший, совестил Германа: связался-де черт с младенцем, срам один. В Буянах народ плевал Лизавете вслед и требовал у батюшки выкинуть из храма писанных ею мучеников. Отец Димитрий и матушка Наталья лично приходили к Лизе для разговору по душам, пили чай с портвейном, на Герку же старались не смотреть. Впрочем, он и сам предпочитал пересиживать гостей на чердаке, куда долетал шелест свя-

того отца о смертном грехе и Страшном суде. Лизавета молча прихлебывала вино, а прощаясь, говорила одно: «Грешна, батюшка, да Бог, чай, простит».

— А давай, Лиза, уедем? — предлагал иногда Герман, жалея свою голубушку.

— Куда ж, милай? Тута дом, могилы.

Да Герман и сам понимал, что не бывать иному пути, кроме как через речку тудой-сюдой или же вдоль, до острова, где сосны, боровики и земляника с наперсток, и нету слаще, чем воткнуться килем в песок и сидеть с удочкой, пока Лизавета-голубка не воротится с грибами и кружечкой алых ягод. Посидят рядышком на горячем песке, сыграют в дурачка, посерчает Лиза на пики козыри, с которыми ей ни в жисть не везет... Как раз и уха поспеет.

Слава любовников, о которой не ведали только в отечестве, между тем росла и ширилась. Когда Лиза, по сновидческому опять же наитию, при помощи Герки покрасила свою избу в яркий синий цвет, в мире снобов и спекулянтов за старухой закрепилось имя русской Фриды Кало. Глупее не придумаешь. Все, все было вокруг них бессмысленно, бесчестно и глупо. И далекая слава, и деньжищи, которых они не нюхали, и выволочки пузатого раководы, и самодовольное презрение пьяных, и пьяненьких, и в смерть запойных соседей, и смертный грех, и Страшный суд.

Однажды зимой к Герману заехала старая знакомая Ирина Соломоновна с какими-то немцами. «Вот, Брейгель, — сказала она, — господа готовы сделать тебе немецкое гражданство. У них крупная галерея, много твоих работ. Надо ехать... — и вдруг добавила

с дрожью внезапной ненависти: — Съебывать из этой параша, Брейгель, и как можно скорей!»

Уламывали Бредня полночи. Рано утром, обессиленный от тупого русского упрямства, расселись по чистым тачкам и газанули. А Ирина притормозила, побежала назад, где стоял и плакал на морозе небритый и трезвый Брейгель в валенках на босу ногу и выгоревшей рубаше, схватила острыми пальцами за плечи, потрянула и всхлипнула: «Прав, прав, чертов мудака!»

Герман на лыжах перешел реку. Чуть свет старуха густо развела новую акриловую краску и в обрезанных перчатках будто бы согревала снаружи холодную беленую печь — толстыми глянцевыми рельефами лепила бронзовых жуков и пчел, гудящих среди земляники. Ничего не стал он рассказывать Лизавете.

Натопив избу и напившись чаю, Лизавета сама сообщила Герке кой-какую новость. Через полгода, родимый, в июле, ей стукнет восемьдесят, и она планирует помереть.

— Бог с тобой, Лизаня, что городишь! — испугался Бредень.

— Завещание выправила, все законно твое. Не плачь, душа моя. Это ж только тута жизнь кончается. Делов-то.

Полгода Лизавета поспешно старела. Герман алчно писал ее портреты, едва закончив один, начинал следующий, все моложе, жарче, телесней.

— Уймись, Герушка, — открывала голые десны усохшая старушка. — Ты ж силы с меня тянешь, дурачина.

В последнюю ночь июля, когда звезды подсолнухами летели с неба и с шипением, словно какие-нибудь пики козыри, гасли в черной воде, Герман укутал мерзнущую Лизавету в лисью шубу, усадил в подушках на крыльце и, тихо плеща веслами, поплыл к себе — взять кое-что из одежды и свежих красок. Но, не доплыв, развернул вдруг лодку и рванул назад. «Подожди, — твердил, словно молитву, — не уходи, бесконечная моя, птица моя, вяточка почтовая...»

Но не было нигде Лизаветы: ни на крыльце, ни в горнице, ни в мастерской. Только рыжая шубейка распростерлась ничком, да валялись повсюду портреты — никому не нужные, непохожие лица, распяленные на сосновых рамах. Порубил их Бредень топором и сжег в печке.

А через год, не выходя из столбняка, настигавшего его все чаще, взял и помер в своей развалюхе на Рыбзаводе, где его все, кроме Ракова, со временем оставили в покое. Раков один и хоронил с нанятыми чужими мужиками. «Вот, — говорил богатый копильщик неба сизым с лица копателям. — До полвека не дожил, пропойца. Так и окошел в нищете и блевотине. И вас это ждет, алкаши».

— А тебя, дядя? — спросил самый молодой могильщик. — Тебя, можа, чего другое ждет?

Рассердившись, Раков заплатил мужикам две сотни против обещанных трех, на «суку» же реагировал холодно и гордо.

ПОДАРОК ФЕИ

Матвей Дантонович Цветков одевается в «Детском мире», имея около метра в холке плюс небольшую голову. Но именно эта толковая голова с лицом плотоядного кролика укладывается в его теле ровно столько, сколько нужно, — раз семь или восемь. В общем, как у идеального человека, изображенного в круге, с руками, раскинутыми в немом изумлении. Этого голого дядьку нарисовал Леонардо в виде эталона нормы. Хотя никто пока не определил понятие нормы. Как все? А что значит — «как все»? Все — разные, есть маленькие, есть большие, есть желтые японцы, есть коричневые афроамериканцы, в просторечии — негры. Негры в массе крупнее японцев, но японцев вместе с китайцами гораздо больше по численности народонаселения. А у мамы Цветковой Фаины Карповны, например, объем груди и окружность талии, да и бедер — совершенно одинаковые: 180—180—180. Но от этого она не становится слоном или китом-касаткой, а остается женщиной в обиходном значении слова.

Карлики — те да, несколько выделяются из толпы именно своей непропорциональностью. Пропорции золотого сечения в их телах нарушены из-за каких-то там хромосом. То есть голова укладывается в теле раза три-четыре, а ручки и ножки вообще крошечные. Как ни крути, не вписываются они в идеальную окружность.

А Мотя был просто несколько заниженных размеров, вроде лилипута. Однако же не лилипут. И тем более не карлик. Родился он у Фаины Карповны вообще без сучка без задоринки: три сто, пятьдесят два сантиметра, с волосиками и, между прочим, в так называемой рубашке. То есть покрытый такой как бы пленкой. Как бы что ли в упаковке. Что в глазах народа является признаком особого счастья и успеха.

Никаких крестин, разумеется. Отец — в прошлом потомственный партиец, сам обладатель революционного имени. Мать — вообще чуть ли не еврейской нации. Просто пошли в ЗАГС и записали сына Матвеем. В честь известного евангелиста, как надеялась про себя добрая старенькая паспортистка, тайная прихожанка Свято-Троицкого подворья. (На самом же деле в честь любимого артиста Цветковых Евгения Матвеева.)

Но тут на беду пришла регистрировать девочку красивая баба с хрящеватым носом и в черной шапке, повязанной сверху, по-боярски, платком. Глянула бешеными глазами и засмеялась.

— Опять, Кошкина?! — стукнула сухим кулачком паспортистка. — Сказано ж было сюда не соваться!

— Ишь ты! — баба поджала тонкие губы. — Что ж мне, дитё родное без документа оставлять?

— Откуда у тебя дитё-то, злодейка? Небось, торговала у бедной какой мамочки без крыши над головой! Ежели вовсе не сперла, чертово семя...

Баба оглянулась на семейство Цветковых и прошипела:

— Чего несешь, дура! Моя дочечка, кровинка. Вот и люди скажут. — Она вдруг поклонилась пухлой Фаине в пояс и пропела: — А вот сделай милость, тетенька, как есть сама мать, глаз у тебя верный. Моя ль дочка? Что сердце говорит?

— Послушайте, гражданка, прекратите психовать, — вступился Дантон.

Фаина дернула мужа за рукав: «Не спорь, больная ж на всю голову...» И с улыбкой закивала:

— Конечно, гражданочка, ваша, вылитая буквально.

Девочка на руках чернявой Кошкиной сияла белизной, как японская чашечка, и волосики, чисто золотые стружки, отбрасывали на лобик и щеки персиковую тень. Ангел и ангел. Без натяжек.

— И спасибо, милая. А раз вы такие любезные, то вот мой вам бесплатный совет: сыночка Карлом назови. И будет вам счастье.

— Отстань от людей, Настасья! — прикрикнула паспортистка. — Ей-богу, доведешь, вызову милицию!

— А не хотите — хозяин, конечно, барин, — наседа баба с ангелом. — Вы, главное дело, в гости меня позовите, будете ж гулять крестины-то по рус-

скому обычаю? Вот и позовите, я подарочек мальчику вашему принесу. А не позовете, все равно подарочек вам будет. Другой, конечно, похуже.

Еле отвязались.

Про чокнутую бабу скоро забыли. На сокровище свое, Матюшу, не могли буквально нарадоваться и налюбоваться. С пацанами по дворам не ошивался, раскраски раскрашивал, игрался в машинки, копеечки копил: аккуратненько собирал по дому и улицам мелочишку — и в кошечку. Глиняную эту тварь с прорезью в спине, с розовым бантом и развратной мордой подарила Матвею на улице какая-то прохожая тетка с малышкой. Собственно, именно малышка и подарила. Несла, прижав к груди, а увидела Мотю, улыбнулась светло и отдала. Только он рот открыл — спасибо сказать, — как обе исчезли. Оп, и нет.

Копил, значит, копил денежки, а в возрасте примерно двенадцати лет перестал расти.

Ломанулись по врачам, напичкали парня таблетками, от которых у него поперли толстые вороньи усищи и густые волосы под мышками — да и плюнули. Ну, не растет и не растет. И что теперь? В общественной и политической жизни не участвовать? Тем более в рубашке. Папаша Цветков (вымахавший до метра семидесяти трех) так сынишке и внушал, подобно Суворову: «Ты, Мотька, бери не числом, а умением!»

И Мотя старался.

Сперва пошел по строительной части. Но за кульманом было ему несподручно, а на стройпло-

щадке, куда Матвей после техникума явился прорабом, рабочие его плохо видели за строительным мусором.

И тогда занялся он бизнесом, в котором рост не играет решающей роли. Мотин талант и, пожалуй, отчасти гений проявился в ситуации, про какую в том же народе говорят, что нет худа без добра. Дантон, козлина старый, влюбился в дуру из салона красоты — косметичку или маникюршу, что-то в этом роде, и развелся со своей Фаиной, которая к этому времени представляла собой практически шар. Но суть не в этом.

Площадь. Площадь надо делить, вот такая холе-ра! Нет у девицы площади, поскольку армянка из Баку, на съемной живет, и хозяева возражают против увеличения жильцов за счет мужского поголовья.

И этот миниатюрный Мотя проделывает серию маневров. В результате у него с матерью образуется двухкомнатная квартира в центре их индустриального города, а папаша с молодой идиоткой оседают хотя и у черта на рогах, но тоже в двушке с удобствами без лифта. Это при исходных округленно тридцати метрах в коммуналке!

И так ловко Матвей Цветков приноровился манипулировать пространством, что вскоре у него отбоя не стало от желающих разъехаться или съехаться в связи со смертью какой-нибудь там древней бабушки, или рождением очередного безотцовщины, или, наоборот, вследствие законного неравного брака, или стремительного распада се-

мы — да мало ли! В общем, оказался этот Мотя шустрым, как веник, и со временем стал вполне уверенно посредничать при торговле недвижимостью. А в пору расцвета дикого российского капитализма открыл ипотечный банк. Шарообразная Фаина возглавила в нем отдел кредитов сообразно своему навыку и профессии бухгалтера.

Все, в общем, устроилось великолепно. Огорчало Фаину лишь одно. Сына фактически не замечали девушки. Даже не очень молодые, разведенные, то есть безнадёжные с точки зрения прочной связи по любви и расчету женщины, даже инвалиды детства и труда, хроники по диабету или там психиатрии — обращали на него ноль внимания.

Естественно, став банкиром, Матвей прибегал к платным сексуальным услугам, посещая специально оборудованную баню-сауну. Девки там — что буренки в Швейцарских Альпах. Отборные. Шустрый Мотя достигал успехов и на этом поприще, то есть был, как выражаются все в том же народе, маленький, да ёбкий. Но не находил паренек утешения в продажной любви, сжигаемый, подобно многим коротышкам, печально известным комплексом Наполеона. В частности, ни с того ни с сего приспичило ему баллотироваться в мэры.

Промышленный город, где проживал Цветков, вырос еще при царе Горохе вокруг оружейного, впоследствии оборонного, завода. Другими словами, этот завод, производящий продукцию секретного профиля с целью обеспечить населению спокойный сон и мирное небо, являлся и по сей день явля-

ется градообразующим. Ясно как день, что главным соискателем был, конечно, не банкир Мотя, а директор завода Бровкин Авдей Авдеич. И не только потому, что Авдей Авдеич — городская знаменитость, в то время как Мотя популярен исключительно в радиусе борделя и старых клиентов квартирной биржи. Но еще и потому, что анкета у господина Бровкина — буквально на зависть и на зло врагам, на радость людям: русский, с высшим образованием, потомственный оружейник, женат, отец троих детей, не говоря уже, что бессменный депутат местного совета четвертого созыва. При таком конкуренте Моте светило на выборах не больше, чем в баскетболе.

— Что ж делать прикажешь? — спрашивал раздраженно Мотя у своего так называемого политтехнолога, журналиста Фимы Бисовича.

— Больницу бы, что ль, открыл бесплатную... — зевал ему в лицо начитавшийся американской литературы наглец Фима. — Как минимум.

— А максимум? — и Мотя щурился, примериваясь, как бы захерачить дармоеду в его курчавую башку чернильницей.

— А максимум — жениться надо, Цветик. У меня, кстати, невеста есть для тебя — пальчики оближешь.

Нет вопроса: построй Мотя хорошую больницу, а еще лучше, роддом в городе, специфически живущем за счет оборонки, где каждый квартал не меньше дюжины-другой новорожденных привычно выкашивает стафилококк и гепатит С, его рейтинг

поднялся бы до небес. Но кандидат не искал простых путей.

И пошел он туда, куда повлек его за собой лукавый щелкопер — в лучшую из четырех гостиниц города, отель «Выстрел» (на балансе завода), где трудились девушки, не охваченные сауной, где останавливались интуристы и чистый торговый люд, а также гастролеры.

Сели они в отдельном кабинете за столик, накрытый на три персоны, Бисович распорядился насчет напитков и прочего... Плюшева портьера чуть заметно шевельнулась, и, словно экзотическая бабочка, впорхнула крошечная женщина. Золотой дымок кудряшек вокруг фарфорового личика, голубые глазки навывкате, синий шелк длинного платья вздувается парашютом... «Фея! — задохнулся Мотя и непроизвольно щелкнул зубами. — Феечка...» Фея раскинула ручонки в широких рукавах и прозвенела нежно:

— Какие люди без охраны в нашем городке! Добрый вечерок всей честной компании! Давно ждете? Ой, шампусик, обожаю! Скорей, налейте, налейте, а то трубы горят, аж прям вся вспотела!

Матвей Дантонович вышел из-за стола поцеловать кукольную ручку. Чудесная дама едва доставала ему до плеча.

Клара Флокс, звезда труппы лилипутов, пила как лошадь не пьянея. Шампанское лакировала текилой, закрепляла коньячком и на сладкое лакомилась ликером «Амаретто». Она звонко хохотала над старыми анекдотами, вообще радовалась всему от

души. В конце вечера, не чинясь, спела несколько механическим, но милым голоском песню «Васильки». На словах «бедная Оля не дышит» невеста развязно и недвусмысленно Моте подмигнула.

Ночь напролет они гонялись друг за другом по кровати, Клара пищала, кусалась и называла кандидата в мэры «мой паучок». О себе рассказывала с охотой и врала, похоже, через слово.

Родилась в этом городе. Мать, когда выяснилось, что дочь — лилипутка, сошла с ума, и Клара росла в детдоме. Там ее изнасиловал воспитатель, а потом старшие мальчики. Удочерил Клару директор цирка, и она стала его любовницей. В цирке полюбила лилипута Марика, Марчелло (из бродячих итальянцев, цирковая династия). Они сбежали и стали выступать вдвоем. К ним примкнули еще несколько «пупсиков» (так она выразилась), образовалась труппа «Марчелло и сыновья», работают по контракту. Мы, пупсики, сказала Клара, ребята веселые, добрые, только живем мало, редко кто доживает до пятидесяти. Сам понимаешь, некогда нам заниматься этой вашей херней.

— В смысле какой херней? — уточнил аккуратный Матвей.

— Да моралью этой вашей.

— А Марчелло?

— Что Марчелло? — не поняла Клара.

— Ну что ты со мной...

— Так и что? Он привык.

— А если я на тебе женюсь?

Клара засмеялась.

— Но он-то на мне не женится!

— Почему?

— Да он женат же ж.

— Тоже на... пупсике?

— Какой ты смешной! — Клара взвизгнула и прыгнула на Мотю, словно мелкая тамбовская рысь.

Под утро любовники заснули, не разжимая, так сказать, объятий, совершенно одинаково посвистывая носом и не нарушая иными звуками своего бесчувственного молчания ягнят. Гостиничная койка раскинулась вокруг, как степь, изрытая артналетом.

Наутро Цветков явился во вчерашней рубашке в банк, объятый бешеной и совершенно неуголимой страстью, дикий, блудливый, всклокоченный, как мартовский кот. На эти случаи у него имелись при кабинете ванная и небольшой гардероб. Но в приемной дожидался посетитель ростом с дошкольника, упакованный в потешное своей солидностью драповое пальто и детские ботинки с галошами. Ножки до полу не доставали и болтались под тупым углом. В руках крошка держал серый берет. Круглые глаза таращил гневно, по-совиному.

— Вот, — показала на человечка блондинка Снежана. — Говорю не ждать, а он ждет и ждет. Нет, говорю, приема, а он сидит и сидит. Говорю, вкладчики по вторникам, а он говорит — по личному, а я говорю, по личному запись, а он! Ну вот что вы паритесь, мужчина? — Снежана протянула к малышу жуткие ногти. — Сил прям нет с этим населением!

Мальчик-с-пальчик соскочил со стула, обеими ручками вцепился банкиру в рукав и страстно зашептал: «Важнейший вопрос, ваша честь, исключительно в наших общих интересах, Богом клянусь!»

— Какой я вам к чертовой матери «честь»? — вспыхнул Матвей, вырываясь. — Где, блядь, охрана?! Вова! Блядь, где вы все?

— Он, он! — плаксиво сморщилась Снежана. — Он всех выгнал!

— То есть как это — выгнал? — банкир изумленно оглядел драпового человечка. Тот, словно в нежном медленном танце, вел его за талию к дверям кабинета.

— Идите, говорит, на хер, и они пошли, и Вова, и Гена, и все!

Столь эффективно уславший охрану малютка аккуратноенько протолкнул Матвея Дантоновича в щель между тяжелыми дверями, деликатно ножкой их захлопнул и уселся на кожаный диван. Мотю пристроил рядышком. Несколько откинувшись назад и в сторону, он любовался уже вконец расхристанным банкиром и, лучась сморщенным румяным личиком, воскликнул:

— Вот кто рожден для успеха!

— Да что, в конце концов! — хозяин кабинета с силой отпихнул лилипута. — Чего вам надо-то от меня?!

— Ни-че-го! Ровным счетом! Это я, я *нужен тебе*, птица моя.

Притянув за лацкан, прошептал Матвею в самое ухо:

— Я — Марчелло.

Матвей Дантонович горячо зарделся и сделал попытку отстраниться. Но коротышка держал крепко, ухватив уже оба лацкана и дыша в лицо не сказать чтобы духами и туманами.

— Слушай меня внимательно, Матвей. Большие и вульгарные, грубые люди недооценивают нас, лилипутов. Мы годимся, по их идиотскому мнению, только для цирка. Ты ближе к нам и должен кое-что знать. Короче, — Марчелло понизил голос, — мы — семья.

— Родственники? — Матвей Дантонович не понял, зачем такую невинную информацию надо сообщать столь зловеще.

— Ай-ай-ай, совсем не догоняешь... Мы — Семья, глава которой называется «крестный отец». Фильм смотрел? Ты что ж, дурашка, живешь как в лесу. Мафия, Матвей, не тормози, ма-фи-я. В цирке я работаю фокусы, иллюзию, манипуляцию. Клара — каучук. (Матвей представил фарфоровое личико своей куколки, с улыбкой глядящее из-под ее же лобка, и сердце шарахнулось и провалилось куда-то в пах.) Но это, как ты понимаешь, прикрытие. На самом деле мы с Клариком руководим гигантской сетью лилипутских кланов, рассредоточенных по всему СНГ. Наш главный бизнес... Впрочем, будешь с нами — постепенно все узнаешь. Ну, — Марчелло растянул щеки в резиновой улыбке, — а кто не с нами, тот, сам понимаешь, против нас.

Марик слегка пощекотал Мотю, как кота, под челюстью. Матвей дернул шеей. «Пупсик» чрезы-

чайно его раздражал. Но мысль о чудесной лилипуточке вызвала такую реакцию плоти, что банкир разом взмок, как мышь, и непроизвольно схватился за штаны. Самое неприятное, что Цветков безоговорочно *верил* «итальянцу». Включая, что итальянец! Исподлобья он еще раз внимательно посмотрел в глянцевые глазки и снова убедился: не врет.

— И что, собственно, вы от меня хотите?

— Да пустяки! — фокусник хихикнул, но тут же устроил бровки домиком, чем придал своей мерзкой печеной мордашке выражение крайнего драматизма. — Скажи мне, дружище, ты ведь любишь мою Клару? Хочешь жениться на ней?

— Послушайте! Какого черта! Ну! Ну... Собственно, какое... Впрочем, понять... Но вы сами, кажется, женаты! И при чем тут!..

— Я готов отпустить ее, — негодяй ладошкой смахнул слезу. — Кларики жила мало, и, по сути, жила в плену. У меня. Я — сволочь, сударь, велите мне застрелиться!

— Прекратите, товарищ, Снежанка наверняка подслушивает. Да тихо вы, ей-богу!

— Короче. Я отдаю Клару. Обеспечиваю тебе выборы. А ты...

— Вот только не надо втягивать меня в ваши бандитские разборки!

— Боже упаси. Ты всего-то навсего поможешь нам занять пару-тройку постов. Силовые структуры, жилье, церковь, то-се...

— Вам — это пупсикам? — в полусне уточнил Матвей Дантонович, чувствуя, как кто-то или что-то

завладевает его волей, и это приятно, как покачивание в теплых волнах на нагретом надувном матрасе.

— Пупсикам, пупсикам. — С возгласом «алле!» гость вдруг перелетел с дивана на середину кабинета, потеряв одну галошу, другую впечатал в ковер, занялся холодным огнем и моментально сгорел дотла. Оставив, само собой, противный запах то ли горелого волоса, то ли горелой резины.

До выборов оставалось всего ничего.

Благотворительный фонд Клары Цветковой обеспечил лечение в Москве рабочему из сборочного цеха, которому размозжило на конвейере правую кисть. Авдей Бровкин ответил ремонтом бассейна. Клара посетила детский дом и взяла на майские праздники девочку с синдромом Дауна. Евдокия Бровкина выступила с бесплатными обедами для пенсионеров. Цветковы венчались в монастырском храме (с участием сестер в роскошной постной трапезе по окончании таинства). Бровкины всей семьей предприняли паломничество к святым мощам Серафима Саровского. Клара дала шефский концерт в воинской части. Бровкин насмерть разругался со старшей дочерью — санитарным врачом, отказавшейся выехать в ближайшую исправительную колонию с лекцией о профилактике СПИДа. Зато средняя сбила на своем (известном всему городу) джипе старушку и скрылась с места ДТП.

Назавтра перед мэрией клубилась толпа с транспарантами «Руки прочь!», и «Нет — власти Авдея

Кровавого!!!», и «Очистим город от коррупции!», и «Банду Бровкина — к ответу!», и «Ветераны не простят», и «Даешь конверсию!», и «Где деньги на общежитие?!», и «Маленькому Человеку — большое плавание!», и «Дуся у Клары украла *коралы*».

Несмотря на малограмотность студентов стройтехникума, исход выборов был предрешен.

В довершение триумфальной избирательной кампании Дантон Цветков вернулся в семью, оставив своей армянке квартиру. Граффити «ХАЧИ, УБИРАЙТЕСЬ» на стене крытого рынка закрасили, а в еженедельнике «Чисто конкретно» прогрела статья Ефима Бисовича о том, как жители города помогают беженцам.

Лилипуты согласно договоренности заняли в городе ряд интересных позиций. Глава местной епархии отец Януарий по личной просьбе мэра (в бане) назначил настоятелем крупнейшего в регионе храма Св. Варвары — покровительницы ракетных войск батюшку из далекой таежной деревни, отца Охломона, лилипута. Лилипут же генерал Калашников (невеста откуда явившийся) принял командование собственно окружным ракетным корпусом. Лилипутка Шевелкина Руфина возглавила жилищную комиссию мэрии. Ну и по мелочи: хударук филармонии, главный инженер хлебозавода, а также один судья, трое присяжных, редактор новостного канала местной ТРК, один директор школы и два токаря-оружейника — седьмого и девятого разрядов.

К лилипутам в городе и области постепенно при-
выкали. На месте снесенного пригородного «шан-
хая» — рассадника беспризорников, ворья и прочего
криминала — новый мэр поставил на скорую руку
несколько пятиэтажек и торговый центр «Гулливвер»
с одноименным памятником.

А под самым цоколем легендарного судового вра-
ча окопалась последняя бабка в развалюхе без све-
та и воды и нипочем не желала передислоцировать-
ся. К ее поваленному забору уже вплотную подошли
бульдозеры. Бульдозерист Ерохин не поленился,
вылез из кабины, стукнул в окно:

— Слышь, Кошкина, сдаваться пора, снесем ща
тя на хер.

Согнутая в три погибели старуха, обмотанная по-
верх облезлой шапки черным платком, выползла на
крыльцо, показала Ерохину с коллегами согнутую в лок-
те руку и закричала неожиданно громко и визгливо:

— Давай, сукин кот, сноси! Только ты допреж
сдохнешь, чем я отседа выметусь!

Ерохин Леха с фасада, с тыла же участковый Ми-
липискин двинулись на старуху. Та повернулась к из-
бушке передом, к технике задом, воздела грабли,
словно желая обнять и защитить собственность сво-
им древним скукоженным телом...

— Доченька! Козочка моя белая, ангел мой!
Слышь, как над ветеранами изгаляются! — голос
чертовой бабки скрежетал над стройкой подобно
листам жести под ветром. — Я ль тебя не холила-
выпаивала, я ль над тобой слезами не обливалася!
Заступись за мамку-грешницу!

И тут, рассказывают очевидцы, бухнул колокол, хотя никакой колокольни в округе близко не было, и то ли с крыши, то ли просто с неба с криком «Кийя!» слетела в лопухи у крыльца всенародно любимая артистка и первая леди Клара Цветкова-Флокс в тренировочном кимоно. Выполнила двойное сальто и правой ногой вырубил старшину Милипискина. Затем вытащила откуда-то из штанов пистолет и давай палить почему зря. Патроны, видимо, были холостые, никто не пострадал. Только бульдозер Ерохина сам собой вдруг развернулся и двинул к реке. Куда и обрушился с высокого, все еще живописного, хотя и засранного населением берега. И в тот же час дрогнула земля под пятиэтажками и центром «Гулливвер». И едва успели жильцы и посетители с детьми и кошками в обнимку выскочить наружу, как осели дома в пыль и канули в открывшийся взглядам котлован.

С этого, бают старожилы, все и началось.

Из котлована пестрой лавой хлынули якобы неслетные полчища лилипутов. Оттуда же перли танки и бэтээры, взлетали эскадрильи истребителей, а также лезла всякая нечисть, которую показывают ночью по телеку под рубрикой «Субботний ужас». Якобы именно после этого десанта страну охватил бардак, какого старожилы не припомнят с 1917 года. Ракетные установки Приуралья, Заполярья, Нечерноземья, Ставрополя, Приморья и, вообразите, гарнизонов Московской области развернулись носом к Кремлю. Хлеба не стало, а школьники повсеместно одичали и стали нападать на взрослых среди

бела дня. Наркотики катились через лилипутские таможни девятым валом. Клара Цветкова по Первому государственному каналу поздравила россиян с Новым годом, после чего заиграл гимн, и все испуганно запели: «Союз нерушим лилипутов могучих! Вперед, лилипуты, к токарным станкам, к штурвалам, к реакторам, нету нас круче, подвластны Земля и Вселенная нам!»

Чего только не плели старожилы, и в их числе чертова перхоть Кошкина со своим дружкой дедушкой Альцгеймером. Сказывали нам, совсем маленьким ребяткам, чьи хвостики еще не обросли пушистой шерсткой и волочились за нами навроде розовых червяков, что в тот год великая королева Клара забеременела, чего с лилипутами тогда еще практически не случалось. И было это плодом их с королем Цветиком любви буквально ибической (говорила бабка Настасья) силы.

И тем же временем, по словам бабушки, бесследно исчез из наших владений первый канцлер королевства Марчелло.

Король и особенно королева сильно тужили. А после вот что. По смерти последнего папы римского очередным главой лилипутского государства Ватикан был избран итальянский фокусник, принявший имя Марка Первого, и миллионы католиков, а также многомиллионная паства других христианских конфессий на коленях приветствовала нового понтифика, он же наместник Бога на земле...

...а сицилийский кунстмахер растягивал румяные щечки в лукавой резиновой улыбке. И тогда пожи-

лой король Цветик обнял любимую жену свою королеву Клару, которая не только не умерла к пятидесяти годам, но и не состарилась ни на одну морщинку, ни на волос, ни на единый жемчужный зубик, и обратился к ней в слезах:

— Скажи, пупсик, ты знала? Знала, куда он метит?

В ответ прекрасная крошка лишь похлопала мужа по ширинке.

— Может, ты и сейчас любишь его?

Клара высморкалась и показала телевизору, где папа благословлял народы, розовый кошачий язык.

— Да никогда я его не любила, сволочь такой. Притом импотент, веришь? Виагры нажрется и ну обещать! Макаронник, грязное жулье! Лыбишься, папуля свинячий! — она обращалась прямо к экрану. — Доволен, и меня, и всех кинул? Ишь, до чего ловко выскочил из дела! Весь, значит, в белом, а мы, значит... Говно ты!

Тут камера взяла папу крупно-крупно, и он с тихой безмятежной лаской взглянул прямо Кларе в глаза, и слезы всеблагостью любви сверкнули и капнули с толстого напудренного носа. И сказал святой отец отчетливо и нежно, да так, что дрогнули народы: «Сама говно».

И тут, говорит бабка Настасья Кошкина и клянется, что не врет, на этих сокрушительных, как тайфун «Арина Родионовна», словах, королева Клара часто задышала, крякнула утицей — и родила. Всем хорошего чистого ребеночка с маленьким розовым хвостиком. «Вот и Фаинка не даст соврать».

Алла Боссарт

И другая наша старожилка, вдовствующая королевшна, расплывшаяся до полной бесформенности, как медуза на солнце, мать Фаина пожала на это, условно говоря, плечами.

ХЕМ И ШАЛАШОВКА

Парни! В «Мцыри» новая блядь Наташа!

Мощный человеколюбивый напор мессиджа, про-
карябанного кирпичом в штукатурке, не брали ни-
какие меры пресечения — ни соскабливание, ни за-
мазывание, ни даже покрытие новыми слоями той
же штукатурки, ни иная какая борьба, включая ноч-
ное дежурство лично хозяина оскверненного посел-
кового магазинчика. Каждое утро огненные буквы
вновь горели на белой стене торговой точки, словно
пятно крови в Кентервильском замке, на радость
всем парням.

Надо заметить, что подобное упорство являлось
чистым и совершенно излишним хулиганством, ибо
личность дебютантки Наташи установить оказалось
гораздо легче, чем автора дацзыбао. «Мцыри» —
усадьба то ли бабушки, то ли тетки, то ли еще кого
из родни великого поэта — из запущенного санато-
рия превратилась недавно в столь же запущенный
памятник культуры, и персоналу там было два с по-
ловиной человека. Причем стоял этот обшарпан-

ный «Мцыри» ровно напротив злополучного сельпо (с тем же, кстати, названием).

Даже придурок Савелий, с соседнего кладбища могильщик, даже таджики с ближнихстроек моментально догадались, о ком речь. В лермонтовском, с позволения сказать, «заповеднике» буквально на прошлой неделе приступила к работе уборщица Наташа, довольно изможденная тетка средних с первого взгляда лет. Конечно, никому бы в голову не пришло, что жилистое создание с чертами, точно полустертыми половой тряпкой, может как-то проявить себя на древнем поприще, хоть бы и районного масштаба. Если бы... Если бы эта Наташа сама не заявила о своем ремесле без всякого стеснения, причем именно на кладбище, заведя праздный разговор с Федором Ляпишевым.

Указанный Федор, парень не совсем молодой, но бедовый, гулял на кладбище от нечего делать. Там было солнечно и весело, народу много, бабы торгуют бумажными, ядовитых расцветок венками и букетами, все выпивают за помин и Федора угощают приветливо и от души, особенно по воскресеньям. А в тот день как раз состоялась родительская суббота, и кладбище вообще, я извиняюсь, кишело. Притом у Федора тоже лежат здесь все, кто можно и нельзя. Даже жена, бывшая конечно, отчего Федор Ляпишев является вдовцом. Катя Ляпишева померла, смех сказать, от падения спьяну в канаву по дороге на станцию за пивом и хлебом. Всю ночь они с Федькой пили, будучи дружной бездетной молодой семьей, и Катя поутру решила прогуляться, а заодно

протрезветь. Неожиданно ее неокрепшее сознание поразили багряные листья клена, нападавшие по обочинам. Потянулась собрать осенний букет — да и свалилась прямо мордой в подмерзшую лужу, пробила ледок тяжелым лбом и захлебнулась. А тридцатилетний Федька остался себе вдовец.

Словом, на кладбище он находился с полнейшим правом и обязанностью.

И вот, выпивает Федор на могилке жены Катерины, тут же мама его покойница, отец, отцова жена (ох и курва, прости господи), прочие Ляпишевы. Закусывает яйцом. И подходит женщина в серых трениках с пузырями и стоптанных назад кроссовках. Подсаживается на лавочку. «Эх, — вздыхает, — ну и погода! Люблю, когда солнце на кладбище. Словно дорогие покойники с неба улыбаются на нас. А?» «Именно что!» — удивлен Федор такой точностью мировосприятия: он и сам примерно так думает. Подвинулся, чтоб женщине удобней было на узкой лавочке, но та не шелохнется, так на краешке и торчит, подобно гвоздю. Федя спрашивает с интересом: «А у вас кто здесь лежит?» Но женщина только дышит носом и грустно улыбается. И вдруг: «А вы бы, мужчина, приходили ко мне ночевать». Федор аж подавился водкой. «В каком... смысле?» «Да в простом, — пожимает худощавыми плечами женщина. — Пospим вместе, ты денег мне дашь немного, рублей пятьдесят...» «Ого! — возмутился Федор. — Откуда?» «Ну хоть двадцать», — легко согласилась женщина.

И вдовый мужик Федор Ляпишев в тот же вечер, нацепив галстучек на резинке плюс куртку «Ади-

дас», постучался с заднего крыльца на территорию культурного памятника «Мцыри», и женщина Наташа, только с лица старая, а телом сочная и крепкая, как осеннее яблоко антоновка, открыла ему и повела пустыми коридорами во флигель, где испокон века в боковой комнатке жила прислуга.

Проще всего выдвинуть версию, что паскудную надпись на магазине оставил и возобновляет Федька. Но, во-первых, не такой он человек, чтоб на стенах писать, — шофер все же некоторого класса со стажем работы в милиции двадцать пять лет, хотя и уволенный за систематическую пьянку. И возраст — не дурак какой-нибудь сопливый, мужчина, как говорится, соль с перцем. Притом у Федора твердое алиби, что может подтвердить сама Наташа: всякую ночь Федя теперь проводит у ней, между прочим, бесплатно.

Конечно, нельзя сказать, что Ляпишев молчал как рыба из ложной скромности или других соображений. Делился, врать не буду. И в очереди за пивом или той же водкой, и в дальнейшем застолье, и просто так, облокотясь на заваленный забор бесхозного своего дома. Вся округа, короче, в момент узнала про Наташу. И потянулся на ее опрятную служебную площадь, оклеенную обоями в медальончик, с лампочкой, сперва голой, а после прикрытой самодельным абажуром с финтифлюшками, караванный путь из местных парней и мужиков. Так что в принципе любой из этих одичавших пассионариев мог выступить в стенной печати. Приходили-то они в разное время, согласованное

Наташей лично с Федором Ляпишевым, который принял в ее судьбе самое горячее участие. Со временем Федька стал брать за комиссию небольшой процент, обеспечивая, кстати, и безопасность Наташи — то есть, честь честью, стал ее сутенером, о чем ни он, ни она не подозревали, так как воспитывались вдалеке от секса, разврата и других плодов цивилизации.

Наташа не была профессиональной проституткой. В юности она училась на швею и даже короткое время работала в городе Иваново по специальности. Очень даже аппетитная и боевая портняжка оставалась, однако, невостребованной по личной части за острым дефицитом мужского контингента в этом своеобразном городе. Все незамужние, согласно популярной песне, швеи и ткачихи комбината, кто постарше, заочно увлекались эстрадным певцом Сергеем Захаровым и грузинским киноартистом и также певцом Кикабидзе Вахтангом, или так называемым Бубой. Молодежь над ними свысока подшучивала, уносясь мечтами в большие города или на металлургические гиганты, где, по наивным девичьим представлениям, их заждались женихи. Пока же ночные вздохи фабричных девчат адресовались новому инженеру товарищу Серегину Андрею Петровичу, молодому специалисту двадцати шести лет. Андрей Петрович был примечателен уже тем, что носил усы. Не так чтоб уж гусарские какие-нибудь там усищи, нет — довольно тощие усишки под курносым носиком, но у местного народа и таких не было. Кроме того, ходил на работу в джинсах, за что

директор комбината Лариса Ивановна ему строго выговаривала, но выбирать не приходилось.

Этот невыносимый красавец Андрей Петрович в отделе кадров значился холостым, что поднимало его рейтинг вообще до космических высот.

И вот раз на танцах случилось чудо.

Танцы происходили в комбинатском Дворце культуры после кинофильма «Вокзал для двоих», картины жизненной, буквально смех сквозь слезы. Заплаканные размягченные девчата выстроились по периметру зала буквой П, в просвете которой местное трио «Гренада» наяривало модный, но идеологически выдержанный репертуар, и принялись ждать. Вскоре танцевальное пространство заполнилось однополовыми парами. Наташа топталась с соседкой по общежитию Маринкой-Пуделем, матерью-одиначкой (сын в деревне у бабушки). Пуделем Маринку звали за пережженный перманент — химическую шестимесячную завивку. Пудель считалась *эффектной*, выщипывала брови и имела в гардеробе брючный костюм. И когда к ним прямым ходом направился в своих знаменитых джинсах знаменитый Андрей Петрович Серегин, чтобы разбить пару, Маринка заранее томно улыбнулась и сделала вид, что ничего не замечает. И, представьте себе, так и осталась стоять дура-дурой со своими стружками на башке и улыбкой на морковных губах. Потому что Андрей Петрович, сказав: «Извините», — хлопнул в ладоши и подхватил ошалевшую от счастья Наташу.

И танцевал с ней весь вечер. А после предложил погулять по набережной. И незаметно привел к до-

му, где снимал квартиру. И предложил зайти «на чашку кофе». Усадил на диван под портретом бородатого мужика в свитере («Ваш папа?» — «Ну что ты, малыш, это же Хем!» — «Кто?» — «Писатель американский». — «Надо же!»). А уж если кто сидит на диване, сами знаете, по законам драматургии непременно и очень скоро на этот диван ляжет с ногами. Что и случилось, несмотря на крупную нервную дрожь девушки Наташи и ее глупейшие протесты.

Надо отдать должное Андрею Петровичу, бросил он Наташу не сразу. Они гуляли целый месяц или около того. Только когда эта дурочка, вместо чтобы пойти и культурно сделать аборт в медицинском учреждении, заявила о своих недомоганиях милому — вот только тогда Андрей этот усатый Петрович задрал белесые брови и молвил вполне, к слову сказать, дружески: «Что ж так неосторожно, малыш!»

И очень скоро, буквально в течение двух недель, Андрей Петрович Серегин незаметно и скромно, никак не афишируя, свинтил с комбината в неизвестном направлении: взял отпуск и уже откуда-то с юга России в конверте со штемпелем «Краснодар» прислал заявление по собственному желанию.

А врач в женской консультации при комбинате сказала Наташе, что у нее детская матка, и если она сделает аборт, то уж больше не забеременеет и, соответственно, не родит ребеночка. Ну и хрен с ним, заплакала Наташа и распорядилась, что давайте, ковыряйте.

Довольно опытная врачиха на этот раз попала пальцем в небо. Забегая вперед, скажу, что береме-

нела Наташа после этого еще раза четыре, а то и пять, и все от разных специалистов, молодых и не очень. Однако, не умея оказать сопротивления обстоятельствам, каждый раз в привычной роли их жертвы шла в медицинское учреждение, где бесплатно и без наркоза совершала эту ужасную женскую операцию тире убийство.

Из города с большинством незамужних ткачих Наташа вскоре уехала от позора и безнадёжной перспективы, пополнив ряды лимитчиц. В этих рядах женская участь складывалась довольно однообразно. Которые скучали жить в одиночестве или в окружении утомительных соседок по общежитию, неизменно растрачивали молодость в случайных связях, иными словами — блядовали. Это создавало отдаленную иллюзию семьи и небольшой приварок к личной продуктовой корзине. С годами Наташа научилась не поить и не кормить своих мужиков, не стирать их сраные трусы и вонючие носки, а наоборот — брать с них деньги, пусть и небольшие, но никогда не лишние. Мужики за это Наташу уважали и дарили ей подарки. Колготки, например. Помаду. Один моряк преподнес ей к Восьмому марта югославские босоножки на шпильке, которые, впрочем, она носить не смогла по причине больших и разбитых ног с мозолями, шпорами и шишками. Но любовно держала в коробке и возила по всем своим многочисленным пристанищам. Моряка Гарика Наташа любила больше других и какое-то время даже верила, что они создадут семью. Но Гарик лишь подженился на полгодика (тоже, кстати, срок небывалый) — и ушел в рейс навсегда.

Еще был армянин Рубик. Этот готов был взять Наташу за себя, но требовал уехать к нему в Карабах и свято чтить там его старуху-мать, не выходя из дома. Так и осталась Наташа перекасти-полем, легкой на передок *шалашовкой* — под сорок, между прочим, если не за.

В этом качестве она и достигла триумфа своей славы, прибившись к литературному заповеднику «Мцыри», а заодно и к Федору Ляпишеву, инвалиду третьей группы с правом работы без одного ребра и трех пальцев левой руки в результате автомобильной аварии в нетрезвом состоянии.

Замечу, кстати, что после четвертого или пятого аборта Наташа действительно согласно прогнозу ивановской врачихи больше не беременела. Возможно, благодаря возрасту. Или, может, общему невнятному распорядку жизни.

Однажды Федор пришел к ней торжественный, в штанах по колено и рубашке с пальмами, купленными, несомненно, на Петровско-Разумовском рынке, куда ездил иногда прибарахлиться и пару раз возил на электричке Наташу.

— Ты вот что, — буквально с порога, — ты это... подмойся сёдни как следует.

— А чего? — встревожилась Наташа.

— А того, — Федя приосанился, — дачника я тебе надыбал. Культура, брат! Журналист с Москвы.

— Да на что меня ему?

— Забор я ему ставил с ребятами. Приняли после работы, мужик простой, сел с нами. А меня еще и в баню позвал. Ну и как добавили там, признался запро-

сто, жена, мол, на отдыхе, а ему без бабы — реально кранты. Ну, я тебя порекомендовал. Плотит, сказал, десять баксов за вечер. Понравится — добавит.

Наташа все сделала, как велел Федор. Еще и голову вымыла, и платье надела обтянутое из чистой вискозы, и босоножки те самые, на шпильке, кое-как натиснула, губы намазюкала, сидит. Встать не может от босоножек и волнения какого-то, словно целка, как тогда с Андреем.

Ровно в 21.00 — стучит. «Открыто!» — пищит птичкой Наташа, а голосок-то перехватывает. Запела дверь, заскрипели ступени, зашоркали шаги... И... Ах! Ой! Мама-мамочка! Тот самый, с бородой, в свитере! Седой, а глаза синие, молодые, ноги загорелые, и бутылка, видно, что культурного вина, не дешевки-портвеша, — торчит из кармана шортов!

Наташа руки-то к груди жмет молитвенно, ресницами хлопает и шепчет:

— Хем... Хем американский...

Гость обалдел:

— Ты... Вы, простите, вы что же, книжки читаете? Знаете Хемингуэя?

И поскольку Наташа молчит глухо, как в танке, только улыбается все шире, забыв про фиксы и другой непорядок во рту, мужик понимает это как согласие и восклицает: «Не ожидал!» И в дальнейшем все пытается вызвать Наташу на разговор, но та лишь пьет мелкими глотками кислятину и быстро покрывается клюквенным румянцем — от лба до

грудей, и бисерный пот выступает под завитыми на крупные бигуди, крашенными хной волосами.

И под конец, уже почти отпрыгав свое и под тяжелым, как шкаф, прекрасным дядькой, и сверху, Наташа вдруг неистово закричала, не найдя других слов: «Это что же, Господи Иисусе, еб твою маа-ать!» — ибо впервые в жизни испытала невероятной силы разряд молнии, как бы расколовший все ее ядреное тело. Далекая от эротики шалашовка ничего не знала про оргазм, на обычный вопрос «кончила?» не задумываясь рапортовала: «Ну». Еще успела подумать, что, возможно, Господи Иисусе и Его Мать наградили ее за все унижения и страдания бездомного одиночества, и она, наконец, возносится... Тут силы оставили ее, и Наташа провалилась в преисподнюю сна.

Пораженный дачник-журналист, никогда не встречавший в своих многочисленных избалованных девках, а тем более в жене подобной самоотдачи, передохнул часок, потом еще раз врубился в спящую, отчего та проснулась и расплавилась в новых ощущениях, по-прежнему не находивших вербального выражения, кроме единственного, как нельзя более подходящего к случаю.

Ослепленная сполохами нежданного женского счастья, шалашовка исцарапала загорелые покалеченные плечи обломанными ногтями, до синевы иссохшего бородатый рот и шею и вновь вознеслась и канула.

Ближе к утру гость ушел, оставив под подушкой пятьдесят долларов.

С этого дня поганая надпись на магазине исчезла навсегда. Кто это хулиганничал тут и гадил, так и осталось тайной. Видать, какие-то инфернальные силы — вроде тех, что оставили гигантские чертежи в мексиканской пустыне и каменных идолов на острове Пасхи.

МЫСЛЕННО С ВАМИ

Не хотелось бы сплетничать, но Юрий Барабанов неважно живет со своей Светланкой. Светланка из простых, парикмахерша, а Юрий Иванович закончил технический вуз и работает по металлу в литейном цеху начальником, сидит в стеклянной будке с кондиционером. Специальное звуконепроницаемое стекло. Одних баб в цеху тридцать душ, выбирай любую, некапризные. Но Юра Светланку свою с девченок воспитал себе в жены как соседку по квартире. С армии пришел и поженился, и вся квартира теперь ихняя. Три комнаты плюс стенные шкафы. Санузел совмещенный, пол линолеум.

А Юрка, еще будучи уходя в армию, все Светланке внушал, школьнице старших классов средней школы: «Светланка, лошадь ты в натуре, учись, учись, тебе говорят, время такое, дурой не проживешь». А эта, ха-ха-ха, Юрым, давай закурым, — и юбец, вся задница в поле зрения. И в итоге? Стоит по девять часов в стоячку, руки вверх — женский мастер, и языком ляляля без перекура.

А Юрка же серьезный специалист, одних баб тридцать душ в литейном, температурный цех, репа к концу дня как чугуны. Хочется понимания. И со временем между ними наметился водораздел по части внутреннего мира. А именно: Юрий за годы (шесть с копейками) сидения в якобы звуконепропускаемом стекле, и вокруг хлещет расплавленный металл типа лавы, рассыпая огненные искры, и тридцать душ литейщиц отбрасывают гигантские тени на потолок, достигая буквально немыслимого сходства с ведьмами из трагедии Вильяма Шекспира «Макбет», — Юрий Барабанов вырастил в своей репе (стрижка Элвис Пресли, орехово-русый с полубачками) крупную, выносливую мысль. Развиваясь в нелегких условиях температурного цеха, мысль вызрела в простую и верную работающую подругу, крепко стоящую на своих собственных ногах в фетровых ботах «прощай, молодость». А у неистовой Светланки в ее небольшой кудрявой тыковке (мокрая химия, травленая-перетравленная, лобик неполных три сантиметра, брови сбриты как таковые) настоящий, образно говоря, бардак, полная неразбериха, писк и кутерьма, и мыслишки крохотные, как инфузории-туфельки, сновали со страшной скоростью, сшибаясь бамперами и разваливаясь на ходу.

Мужик приходит с работы, репа гудит, мысль в отгуле, пережидает на своей площади где-нибудь во Фрязино, — а у этой до сих пор конь не валялся; с четырех дома и все в колготках и лифчике носится туда-сюда с сигаретой. Белые на плите выкипает, пе-

на, конечно, шлепается в кастрюлю с борщом, забытую закрыть, на конфорке по-соседству.

— Юрашка! Пуся моя, чего мрачный? Ха-ха-ха, такой прикол был, приперлась одна дура, и бабам: девочки, дубленки секонд-хенд двести баксов, а Райка-маникюрша — секонд чего? А девки: ношеные, значит, а дура: сами вы ношеные, не ношеные, а брак, а Райка: что ж ты нам брак гонишь, а она — дык ведь двести, не пятьсот, а баба одна, Маринкина клиентка, путана: хромай, грит, отсюда, челнок дырявый, в ментовку захотела? Ой, уссусь, не могу, — и, обхватив себя поперек голого живота, Светланка ржет широко открытым ртом.

Юрий каменно глядит на жену из-под надвинутых бровей и тоскует. Его любимая мысль, вся литая, спит на своей площади, город-спутник Фрязино, и язык у Юрия после трудового дня не ворочается, а в глазах роятся синие искры.

— Ой, чуть не забыла, пока не разделся, сгоняй за хлебцем, пупусь, сигаретки не купил? Стой, погоди. Ну? Ничо не замечаешь? Какой ты прям. По-краси-лась, не видишь? Черный тюльпан. А то был суперблонд. Нравится? О, Юраш, давай тебя покрасим, а? К нам один гомик ходит, ему в мужской не красят, так он к нам: девчонки, грит, правда, я милашка? Представляешь, они его зовут «Ленка»! А Генриетка ему ресницы красит и выводит на груди волосы! Прикинь? Юрк, Валька над нами водный пылесос купила, я тащусь. Купим, Юрк, ну правда?

То есть можно видеть, что за картина мира творится в Светланкиной, если можно так выразиться, голове.

Пока эта чумовая жена, выпятившись у зеркала, давит прыщик на подбородке, даже не замечая, как одна стремительная идея высвистывает наподобие пара у неё сквозь барабанную перепонку и исчезает навсегда, — Юрий Иванович угрюмо шагает за хлебом и обратно, наливает себе борщ с каким-то мыльным привкусом и в отвратительном настроении ложится на диван, перебросив локоть через лицо. В этой неудобной позе он похож на пассажира дальнего следования в зале ожидания. Да Юрий и сам является как бы залом ожидания, потому что мусор, тревога, тоска и беспризорный сквозняк перемешались и кочуют по его душе. Его любимая мысль, рослая и крутобедрая, по имени, между прочим, Василиса, не посещает его в присутствии Светланки. Как-то раз она пришла ночью. Юрий не мог уснуть после собрания акционеров, где генеральный директор измучил коллектив недомолвками, — Светланка рядом влажно храпела, и вдруг Юрий Иванович Барабанов ощутил родное тяжелое шевеление с другого боку, и Василиса сонно охватила его всем своим житным телом, и Юрий в некотором изнеможении даже слабо заскулил: оа... аы... Отчего Светка вздрогнула и села, чума, вытаращив козы титьки. Юрий натянул одеяло на голову, но там, у виска, уже растекалась пустота, Василиса с грохотом неслась в последней электричке к платформе Фрязино по Курской соловьиной дороге.

Спали допоздна. Светланка шла в вечер, а у Юрия в температурном цеху бабы с ночи договорились бастовать и начальника предупредили не выходить

типа в поддержку рабочего класса, а нет — пеняй на себя. Техника безопасности в цеху, что неоднократно впустую отмечалось, давно пришла в состояние полного и аварийного упадка, а бабам, одичавшим в литейной, будем говорить, геенне, терять буквально нечего. Ну вот Барабанов Юрий и забурился от греха в знак пролетарской солидарности.

А рослая и крутобедрая Василиса на отдельной площади, поселок городского типа Фрязино Московской области, сидит, свесив полные ноги, на кровати, на высоких перинах, и в вырезе белой мадаполамовой сорочки шевелится ее живая грудь. Василиса моргает спросонья телячьими ресницами да знай себе чешет, чешет частым гребнем русую косу по колену. Тайный сок гудит и несется по ее горячему организму, как ночная электричка, с такой волжской силой, что панцирная сетка под василисиними ягодицами тихо вызванивает.

Василису томит изнутри свежая истома, на семафоре за окошком, за геранями, брызнул зеленый, и бросилась вон с площади страстная Василиса, сунув в сенях голые ноги в боты «прощай, молодость» и не попадая в рукава стеганой жакетки.

Вот Василиса выходит на «Щелковской», у автовокзала, и только тут замечает, что из-под жакетки торчит у ней ночная сорочка, белый мадаполам в редкий букетик. «Ахти!» — взвизгивает Василиса, но не возвращаться же, и, придерживая на плече коленкоровую кошелку с компотами (крыжовник, слива) и вареньем из китайки, распаренная Василиса топает по весенней грязи, а сердце из груди пря-

мо рвется, как птица. Весь подол, конечно, измызгала, а навстречу из подъезда — эта краля, вся переливается. На каблучищах ее шатает, башку задрала и машет руками, как ветряк, — в направлении окошка на пятом этаже. Василиса — шарах за мебельный фургон. «Поберегись, тетка! — заорал на нее дяденька с пианиной. — Зашибу!» Совсем без памяти кинулась в подъезд, к стене прижалась, отдышалась маленько, пот утерла...

— Дилинь-дилинь! — словно на лугу козий бубенчик.

— Кто? — хрипло ставит вопрос осторожный Юрий Барабанов.

— Свои... — хрипло отвечают из-за двери.

— Наконец-то, — хрипло шепчет Юрий Барабанов и кладет растопыренную ладонь Василисе на грудь.

— Юрий Иванович... — хрипло шепчет Василиса. — Обождите, Юрий Иванович, радикуль-то хоть поставить...

— Ах ты, заботушка моя, — хрипит Юрий Барабанов и месит, месит теплое упругое тесто. — Употела, милая?

Потом они сидят на кухне и пьют чай с китайкой.

— Юрий Иванович... — смущенно бормочет Василиса, теребит полу и краснеет.

Барабанов Юрий ухмыляется с веселым самодовольством и треплет большую Василисину ногу выше колена.

— Юрий Иванович, товарищ Барабанов... Вы уж не серчайте, а только ведь я тяжелая...

— Да уж, в натуре, нелегкая, — смеется Юрий, — думка ты моя!

— Не в этом смысле... — Василиса буквально не смеет поднять глаз. — В тягости я... Ну, ожидаю, понимаете?

Юрий Иванович Барабанов постепенно осмысливает эту сводку и, можно смело сказать, меняется в лице. Перед его внутренним взором всплывает безмозглая головенка его жены, сотрясаемая визгом, звоном, скрежетом и выхлопами нескончаемого ралли, отзвук которого он улавливает иногда по вечерам. Он оперативно воображает детский плач и бессонные ночи, суету и топот маленьких ног, болтовню, велосипедные звонки и разбитые стекла...

— Василиса, — говорит он строго. — Я ведь женат, разве ты не знаешь?

— Знаю... — шепчет Василиса и еще ниже опускает русую голову.

— У меня вредное производство, температурный цех, сложный контингент. Бастуют. Как ты могла, Василиса?

— Извините... — шепчет Василиса.

— Что, разве нам плохо вдвоем?

— Хорошо... — еле слышно соглашается Василиса и сморкается в подол.

Юрий Иванович Барабанов путем похлопывания по спине поднимает Василису с места и вытирает ей слезы своим синим платком. От платка пахнет утюгом и мужчиной. Василиса порывисто вздыхает.

— Поздно. Домой пора. Единственная моя...

Василиса отворачивается, но Юрий Барабанов пытливо заглядывает ей в лицо:

— Слышишь, ты давай, не подведи меня, смотри.

«Радикуль позабыла!» — вспоминает Василиса в лифте, но дверцы захлопываются, и Юрий Иванович, качая головой, возвращается в квартиру и смотрит из окна, как Василиса налегке спешит, видимо, к своему этому дому в бывшей деревне Фрязино. Дом ей остался от померших родителей. Эта ее комната, вероятно, с геранями, которую Юрий Иванович никогда не видел, да и не уверен, честно говоря, есть ли она вообще, как говорится, в природе.

УНДИНА ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА

Когда журнал, где Женя Волынкин работал редактором отдела поэзии, загнулся окончательно, на Женю очень кстати свалилась незаурядная халтура. Его автор Артур Маколин предложил вместе писать тексты для службы «Секс по телефону». Артур темнил, но Женя-то знал, и все знали, что у Маколина в этом «Сексе» работает жена.

Платили хорошо, тыща знаков — двадцать баксов. Вдвоем они выколачивали по пятёре в неделю, да и работа ерундовая для человека с пером и воображением.

Женя как раз опять развелся, жил один с приبلудным псом Барсиком, питался пельменями, ботинки имел крепкие типа «говнодавы», галстуков не носил, так что тратить особо не на что. Любил, правда, выпить. Ну, так ему и хватало.

А тут лето. Время отпусков. Проснувшись утром в гулкой знойной квартире, Женя тоскливо послушал, как поскуливает и стучит когтями терпеливый Барсик, отметил гамачок паутины в углу, пыльное

окно, косо задрапированное дырявым пледом, пере-дернулся от раскисших в стакане окурков, перевел взгляд на заляпанный пол, потом — на собственные ноги в затхлых носках... Прошел в ванную — из за-плеванного зеркала на него смотрела опухшая ще-тинистая рожа с глазами, как говорится, кролика. Ужас, подумал Женя Волынкин. Убожество и ужас. Человек с пером и воображением не должен так опускаться. Есть два пути. Даже три. Сделать ре-монт. Отпадает за громоздкостью и нечеловеческим напряжением моральных сил. Позвать Нонку, пусть приберется. Но просить об услуге первую и самую человекообразную из жен показалось вдруг непри-стойным. Ну что, в самом деле... Ни-ни, отпадает. Оставался третий путь спасения души. Уехать на хрен из этой помойки. Вот Барсика к Нонке прист-роить на время как раз можно. И свалить куда-ни-будь подальше: «Секс» они загрузили на месяц впе-ред, не меньше, тем более мертвый сезон.

Но вот куда? Ладно, ладно. Пока — немедленно за пивом.

Оставив самозабвенного Барсика носиться по дво-ру, Женя сбегал на уголок, затарился и первую бу-тылку жадно высосал прямо на лавочке. Постепенно отпускало, оттягивало. Вышел сосед Ленька Хера-тин — по-домашнему: в пальто явно наголо и вьет-намках. Японский городской как есть. Закурили.

— Слышь, Жека, — прохрипел Ленька, косясь на звонкую сумку у Волынкиных ног, — хорошо бы ща на бережку-то, ушицы б наварить, да раков, да под пивко... А?

Женя молча протянул товарищу непечатую бутылку. Хератин радостно скovyрнул об лавку крышечку и громко, натруженно забулькал.

— А, Жек? — утерся самурай. — У нас в деревне речка чи-истая, рыбы — во! Раки во такие, с кошку ростом, охренеешь.

— Это где ж у тебя деревня-то, Хератин? — скептически не поверил Женя. — Что-то не слышали.

— А под Тагилом! — неожиданно похвастал Ленька.

— Под каким еще Тагилом?

— Под каким... Под Нижним. Не слышал?

— Слышал, почему, — усмехнулся Волюнкин. — Заводы там и шахты. Месторождения. Передохла твоя рыба, а раки, небось, мутировали в звероящев, жрут всякую падаль...

— Сам ты мудировал, — парировал Хератин. — Деревня у нас в верховьях, сплошная экология. Теща там.

— Теща? Да ты сроду женат-то не был.

Хератин сплюнул.

— Дурак ты. Был я женат, тебе и не снилось. Давно, конечно. Лет двадцать назад. Утопла жена. Поехали к теще раз, вот как сейчас, жара была. Пошли на речку, ногу свело у ней — и привет горячий. Утянуло — так и не нашли! — с непонятной гордостью объявил монтер. — С тех пор вот выпиваю для забвения.

Дома Женя заглянул в энциклопедический словарь, с помощью которого ориентировался обычно в бескрайнем море жизни и информации. «Нижний Тагил, — прочитал. — Г. (с 1917) в Свердловской обл. на р. Тагил. Ж.-д. уз. 419 т. ж. (1985). Центр

черной металлургии и маш-ния (Нижнетагильский металлургич. комб-т, “Уралвагонзавод”). З-ды: пластмасс и др. Добыча медной руды. Пед. ин-т, 2 т-ра. Музеи: краеведч., изобразит. иск-в. Осн. в 1725. Орд. Труд. Кр. Знамени (1971)».

Хорошего, конечно, мало. Надежду внушал один лишь пед. ин-т, но летом и студенток, пожалуй, не доищешься. И что за река такая — Тагил? Врет, небось, Хератин про раков и вообще. Жена какая-то, утопленница...

Однако мерзость запустения на собственной жилплощади была столь унизительна для человека с пером и воображением, так уязвляла душу, что Волынкин вдруг решился. «А ведь это поступок! — подумал он. — Ведь вот не каждый так — раз, и рванет на Урал! Верховья реки Тагил, таежная деревня, отроги старых гор, окно в Азию... Да не остаться ли там вообще? Нести грамоту и культуру темному племени охотников и рыболовов, вывести ихнее юношество на дорогу цивилизации...»

Волынкин пошарил в холодильнике и нашел две вареные картофелины в мундире. Потряс над стаканом вчерашнюю бутылку, насчитал девять прозрачных капель, что нехотя упали в грязный стакан. Слил туда же остальные опивки, разбавил холодным чаем, выпил и закусил.

«Вот жизнь! — начертал фломастером на газете. — Ночь так близка... На посох опершись, через хребет вот-вот уж перевалит, и мне пора к верховьям Тагила. Ты ждешь, Хератин с харей посиневшей?.. Ну, где твоя ладья? — Увязла в речке Стикс

(притоке Чусовой), в объятых ила. — Ну, так давай упрямся оба-двое в весло мореное и боевое и вырвем челн твой тягостный из тины, и пусть сожрут нас раки и ундины!»

...Ехали сперва поездом «Уральские самоцветы» (Москва — Свердловск). Долго ехали, суток двое. Ну, не меньше тридцати или даже сорока часов. На подъездах к Перми забрезжили белые ночи, и вообще все смешалось. На платформах днем и ночью, и правда, как обещал Хератин, продавали раков — с укропом и картошкой. Не помня себя, сошли в путаницу крупного и грязного ж.-д. уз. Нижний Тагил, жестяным голосом кричащего с сероватого неба неразборчивые вести; пересидели остаток светлой ночи на парапете памятника непропорциональному металлургу возле автобусной остановки. На грани мутного рассвета, неотличимого от ночи, погрузились в первый автобус, доехали до села под дерзким названием Лъзя. Там Хератин сбегал к деревянной церкви на пыльной площади и привел лошадь, впряженную в телегу с сенной трухой на дне. Телега гружена была флягами. «Молоко везешь?» — кивнул на фляги любезный Хератин. Возчик, сонный губошлеп с заметным налетом придурковатости, отвечал охотно: «Возил дак, не довез, в суботею на Троице дядька Митрич не принял дак, велел ворочаться, тапери-ча уж и покисло дак считай... А куды девать? А ну дак и хер с им!» — неожиданно бедово заключил парень и вытянул вожжой свою кобылу: «Чаво стала, блядь дохлявая!»

Дохлая блядь довезла их вместе с прокисшим молоком до маленькой речки Туриянки, одного из мелких рукавов Тагила, куда возница при помощи пассажиров вылил все четыре фляги. Белая муть унеслась вниз по течению, а Волынкин с Хератиным выпутали из камышей дырявую лодочку и переправились на другой бережок. А там уж пешком часа за два дошагали до деревни Верхние Брошки, откуда через холм рукой было подать до совсем крохотной деревушки Малые Хиты в предгорьях Уральского хребта. Там-то и жила неведомая теща, и несла свои опасные воды быстрая и холодная Стыня, кишащая у берегов раками, щуками и сомами подкоряжными, на глубине же полная водоворотов и гибельных омутов.

Теща, древняя старуха, вырезанная как бы из коры векового дуба, Леню, ясное дело, не узнала. «Мать! — орал он ей в огромное дупло уха. — Я Ленька, зять твой! Дуськин муж! Напрягись, мать, Дуську-то помнишь свою?» «И, парнек, какой те Дуськи... В водяницах Дуська нонеча гулят, пляски пляшет, на Купалу к омуту хто-нихто не бегти, зашшекочет, утянет, заиграт, парнек, эва чо схотел...»

...Раков, Ленька сказал, лучше всего ловить ночью на фонарь. На кошку дохлую тоже неплохо, да где ее взять-то. Отоспавшись остаток дня на мышьем сеновале, непонятным светлым ночным часом товарищи спустились к речке. Хератин сгрузил рюкзак с нижнетагильским пивом, ловко запалил костерок. Туман, словно молоко в воде, низко слоился над бо-

жым миром, потрескивали в бледном огне сучья; изумительную благодать испытывал поэт в блоке с душевным рабочим классом в этой чистой, напоенной сырыми луговыми и речными запахами ночи... Река, небо, бережок сливались в общем дымном свете, и две прекрасные девицы в длинных рубахах, выйдя к костру из туманных вод, ничуть не удивили мужчин, присев рядышком на травку.

Ленька уже много раков натаскал, опуская в илистую сыворотку электрический китайский фонарик, запеленутый в полиэтиленовый пакет. Черная масса шевелилась и тихо скрежетала в ведре. Одна из девиц откинула от лица мокрую прядь и обняла голой рукой ловца за шею. «Что, Ленечка, узнаешь меня, морда бухая?» — и поцеловала, оттянув ворот свитера, под кадык.

— Дуська! — не удивился, но малость встревожился монтер. — Слышь, Жек, а ты не верил! Дуська моя, утопшая.

— Дуська на базаре семечками торгует... — нежно рассмеялась девица и подала Жене свободную ладошку. — Лилия, ундина шестого разряда. — Она искоса метнула на него лукавый взгляд. — А это Вероника, ученица.

Вторая девушка застенчиво улыбнулась и склонила голову Жене на плечо:

— Айда купаться, рыбачок?

— Не, девки, — сухо отвечал за Волынкина Хератин. — Знаем мы, как с вами купаться. Хорош православные души губить. А вот, к примеру сказать, может, раков хотите? Ща варить станем.

Ундины легко согласились. Пока раки варились, Дуська все ныла, что совсем мужиков не стало, местные их знают и нипочем купаться и щекотаться не хотят, а приезжих вот уж лет десять как не бывало. Потом выпила и повеселела. Затянула песню «Ах вернисаж, ах вернисаж...», покраснелась, обозвала Хератина старым козлом и, допив свое пиво, мертво уснула.

Вероника же маялась. Была она некрасивая, нос розовой картофелинкой, глазки припухшие, волосики реденькие и вдобавок — заячья губа. Раков жадно и шумно высасывала, объясняя с набитым ртом: «Оголодали на хер с энтих водорослей!» Доевши, стала норовить впитаться измазюканным ртом Женьке в губы; поэт уклонялся. «Ну и пошел на хер», — в своей манере среагировала Вероника и попросила папиросочку. «А где ж ваши хвосты?» — удивился вдруг Женья, обратив внимание на толстые и большие ноги Вероники. «Во дурак! — заржала та. — Сказано ж тебе, епть, ундины! Какие тебе хвосты, это у русалок, да и то не всегда. А ундины — бабы как есть, без разницы!»

Между тем разгоралась небывалая заря. На косых сиреневых, потом розовых и прозрачно-красных крылах полетела от леса по небу, наливаясь вишневым соком, лопааясь от спелости и рассыпая по мокрой траве бриллиантовые огни. Дуська-Лилия спала, раскинувшись в волнах янтарных волос. Развратная улыбка играла на ее губах, спелых, как заря, тень ресниц трепетала на нежной щеке, тонкие ноздри тихонько посвистывали. Белая рука ле-

жала на сердце, точно Дуська давала клятву. Свободная рубаша обтекала многочисленные холмики, впадинки и извилинки. Увлеченный ландшафтом ее длинного тела, Женька не заметил, как скрылась Вероника и уполз спать в стог на лугу Хератин. Поэт пальцем погладил ундину по бровям, отчего глаза ее открылись, уколов Волынкина холодными синеватыми зрачками.

— Ох и надоело мне, дядя, в омуте кувыркаться, — неожиданно заявила Дуська совершенно трезво, как и не дрыхла. — Отсырела за двадцать-то лет, как не знаю что. На сушу податься хочу, с людьми пожить, скукота ж собачья!

— А вам... это... — затруднился с формулировкой поэт, — вам что же, разве можно с людьми-то, вне среды?

— Все нам можно, — зевнула ундина. — Расписку пишешь в отдел кадров — и вперед. Многие так живут. Старость, правда, на берегу быстро жарит, помереть можно. В рассоле-то мы ж бессмертные.

— В каком рассоле? — не понял Волынкин.

Дуська хмыкнула.

— Промеж себя зовем дрянь эту — рассол.

— Воду что ли?

— Но.

— И что ж, не жалко тебе твоей молодости? — Женька вновь жадно окинул сочную плоть, что вовсю наливалась и жгла сквозь пронизанное солнцем плотно.

— А чего жалиться? Скучаю я тут, спасу нет... — ундина вдруг обняла Женю за шею и притянула к сво-

ему лицу. Долго, долго тянулся поцелуй, Женя Во-
лынкин уж и дышать перестал, как бы весь всосан-
ный воронкой Дуськиного рта, свежего и прохладно-
го, хотя и отдающего слегка тиной. — А с другой сто-
роны, — продолжала как ни в чем ни бывало, — на-
доест мне с тобой — дак ворочусь, моя воля.

Поэт Волынкин с легким беспокойством отметил
это «с тобой». Но возражать не стал. Нравилась
ему Лилия, она же Дуська, аж живот сводило.

Ну, долго ли, коротко ли, завершили мужики муж-
ской свой отдых. Накануне же отъезда состоялся
меж ними мужской разговор, в ходе которого Во-
лынкин по-мужски признался Лене Хератину, что
полюбил его бывшую супругу Евдокию и, если Хе-
ратин как мужчина не возражает, хотел бы забрать
ее в Москву с целью сожителства, а возможно, и за-
конного брака.

— А мне-то не один хер? — охотно согласился
мужчина Хератин, разливая. — У меня, сам знаешь,
с этим делом полное и окончательное замыкание.
Полшестого, как говорится... Ты гляди только, Во-
лынкин, не играйся с ей шибко: как бы она тебя не
того... В ванне бы не утопила по семейному делу! —
и заржал, дурень.

...После Германии, где Волынкины проводили
медовый месяц (Лилечка мать похоронила, и до-
вольно удачно, потому что в огороде, где зарыли
старуху по ее собственному последнему желанию,
аккурат под горохом обнаружилось залежание чистой
малахитовой жилы), молодая жена впала в мрач-

ность и отчуждение. Напялит немецкое белье и шляется по замызганной квартире с бутылкой пива «Гиннес», отдавая ему явное предпочтение. Супружескими обязанностями манкировала беззастенчиво, как падла. Цинично требовала евроремонта. «Что с тобой, Дуся?» — пугливо спрашивал поэт, ловя ее ускользающие ляжки. «Дуся на базаре семечками торгует», — надменничала Лилия и шла курить на балкон. «Оделась бы, люди смотрят!» — звал Евгений. «Было бы во что — оделась, сукин ты сын», — парировала бесстыжая и распускала свои волосы до колен, высоко и распутно задирая локти.

Женя пытался советоваться с Хератиным как с имевшим опыт совместной, хотя и недолгой жизни с объектом. «Вмажь по соплям», — рекомендовал недалекий монтер, и, кто знает, возможно, был прав. Евгений, однако, советом пренебрегал и шел за консультацией к своему утонченному другу и соавтору Артуру Маколину, чья Валентина упоенно визжала на весь микрорайон всякую ночь напролет. Артур нес ахинею насчет разности культурных потенциалов.

Между тем Лилия стремительно седела. На круглой сияющей шее залегла глубокая складка. Подглазья... верхняя губа... пупок... Да что там лукавить — старость расставляла ундине силки на всем пути следования...

Раз ночью Евдокия закинула Евгению ногу на бедро и жарко шепнула: «Слышь, Волынкин, давай что ль, а?» Тому уж и не больно хотелось, отвык, да и бывшая тактильная упругость в прильнувшем теле,

считай, осела вся, как в скисшем тесте... Однако пока верхи рассусоливали, низы, чего с ними давно не бывало, вдруг ни с того ни с сего и захотели, и смогли, и хищно запульсировали, набухли и вытянулись во весь рост, как караул у Мавзолея Ленина.

По завершении, отдуваясь, как жаба, Дуся поделилась неожиданной информацией: «Слышь, Во-лынкин, а бабы на дворе сказывали, ты по матери — еврей, право слово?» «Ну, еврей, — удивился Же-ня, — а что, кто-то против?» «Ты даешь, Волынкин! Чего ж молчал-то?»

В общем, план Лилии Женю даже не то чтобы потряс, а вызвал неприятные сомнения в ее психическом здоровье, подорванном отчасти возрастом, отчасти же — резкой сменой среды обитания. Поскольку разлетелась Дуська буквально в Европу.

Долгий изнурительный месяц после ночного этого десанта Лилия в прямом и переносном смысле не слезала с супруга, вместе со спермой выкачивая из него согласие подать на ПМЖ в Германию на правах потомка жертв еврейского населения во искупление вины нацизма перед многострадальным, хотя и богоизбранным народом. Ни в какую Неметчину русский поэт Евгений Волынкин ехать не собирался, не хотел и, наконец, не желал, и даже слышать об этом не мог без содрогания всей памяти сердца и нервной системы. Тем более что жертвой себя никак не ощущал. Еврейская мама родилась в 1946 году вообще в Вильнюсе, в семье малозаметного, но дальновидного портного, который вовремя купил себе в отдалении от исторических преобразований хуторок и умер

там своей смертью в возрасте девяности восьми лет, получив медаль Независимости из рук самой госпожи Прунскене.

А ундина Евдокия угасала, суд да дело, на глазах. Уж и соседи стали Жене пенять: ты чего ж, Волын-кин, писатель ты хренов, жену совсем заморил? Пушкин ты, блин, или Лермонтов Михаил Юрьевич? Где у тебя совесть — вывез из экологически чистого оазиса в районе малахитовых отрогов огневушку, можно сказать, поскакушку — и что мы видим? Хирет баба, чахнет и сохнет, как ивушка неплакучая, а ты как трескал с мужиками, так и трескаешь, а жена вот-вот помрет.

Волынкин понимал, что агитацию в семейных ячейках жильцов и ближайших собутыльников проводит сама Евдокия, она же Лилия и, прямо скажем, Дуська. Однако совесть русского интеллигента, отягощенная еврейским генокодом, мучила его, как французского летчика Экзюпери, который раз и навсегда врезал человечеству по почкам доктриной, что ты, мол, в ответе за того, кого, идиот этакий, приручил. И кончен бал.

Малахитовые деньги между тем подошли к концу. «Секс по телефону» прикрыли. Артур со своей Валентиной взял да и свинтил в Англию. И Дуська вообще взбесилась. А тут еще Амплитуда Кузина, близкая женщина офицера в отставке Никиты Голубя, привела к Волынкиным по-соседски одного психотерапевта, доктора Шварца. И этот Шварц всего за тридцать баксов нашел у Евдокии аллергический полиневрит на фоне лимфотоксикоза, который лечат

только в одной санатории на берегу Рейна, где сочетание горного воздуха, горячих источников и озер, обогащенных подземными ключами, не говоря уже о дубовых рощах вперемешку с реликтовой сосной, образуют уникальный микроклимат. «Не хочу вас пугать, но речь идет (как мужчина мужчине) о жизни — или, поймите меня правильно, медленном и, будем откровенны, мучительном угасании...»

В общежитии беженцев на окраине какой-то микроскопической деревни с длиннейшим названием, что на земле Рейнланд-Пфальц, куда Волынкиных распределили на жительство, вышел скандал. Ванной разрешалось пользоваться раз в день и ровно пятнадцать минут. Толстая немка из иммиграционной службы долго выговаривала «фрау Фолинкин» через переводчика, что тут ей «найн Вольга», тут орднунг, будьте любезны! Немецкий доктор никаких болезней у фрау Фолинкин не нашел, за исключением естественного в ее возрасте климакса, и на санаторное лечение по фашистской страховке направить отказался. В этот знаменательный день Женя Волынкин, поэт в тисках эмиграции, назвал свою опухшую от слез и варикоза жену коровой уральской и старой душой, дал ей (слегка) по шее и посоветовал, что двадцать лет назад ее вместе с потрохами и гребаным лимфотоксикозом в одном флаконе не сожрали раки.

Потом фашисты выдали им пособие, вручили билеты на автобус, и через два месяца фрау Лили завела обычай посиживать в шезлонге на терраске

хорошенького пансиона в излучине Рейна, в окружении волнистых холмов, вдыхать аромат цветущей жимолости и тосковать по любимой родине Малые Хиты на берегу речки Стыня, так как фашистского пособия не хватало даже на ящик пива «Гиннес» в неделю, а денег за проданную в Москве квартиру жидяра Волынкин не давал.

Раз, проснувшись от яркого света луны, бывшего струей молока в открытое окно спальни, Евдокия услышала далекое и сладкое пение. И неудержимо потянуло иссохшую на чужбине душу на влажные, словно струи арфы, нежные голоса...

В одной рубашке скользнула Дуся через лужайку вдоль залитых луной спящих стен пансиона, перевалила через холмик, спустилась в лощину; задыхаясь от волнения и держась за сердце, быстрым шагом миновала рощу, где дубы отбрасывали четкие тени на светлую траву... И вышла к реке. На песчаном берегу босые златокудрые девы в таких же, как у Евдокии, ночных сорочках красиво маршировали под популярную в сороковые, роковые для мировой интеллигенции, годы песню.

Какое-то время Дуся вслушивалась в незнакомую мелодию, укладывала острый возбуждающий ритм на мягкое русское ухо, тихо подпевала, что оказалось так же легко, как пристроить фашистский марш к свежим и бодрым словам гимна советских авиаторов (а не наоборот, как принято думать). И, не в силах более сдерживать энтузиазма, врубилась в каре и подхватила с восторгом: «Лили Марлен!»

Девы ласково оглядели новенькую, расчесали ей седые космы золотыми гребнями, отчего те засияли прежним янтарем и медом, набросили на шею венок из дубовых листьев, осоки и лилий и, заливаясь не-удержимым смехом, повлекли к искрящейся лунной дорожке, что пролегла поперек глади многократно воспетой реки Рейн в переводах Василия Жуковского и других просветителей.

Через пару лет ундина Лилия выписала в Рейнланд-Пфальцскую заводь ученицу Веронику из Малых Хитов. Та защекотала себе хорошенького югенда из младонацистов и дослужилась до штурмбанфюрера. Сама Лилия в мужчинах разочаровалась и полюбила плавать к сельским верховьям Рейна, где в одиночестве выходила на безлюдные пастбища и выданным ей наряду с прочим инвентарем личным золотым гребнем расчесывала бороды старым козлам.

Поэт Евгений Волынкин помыкался-помыкался, пока не вышли квартирные деньги, да и потратил остатки на автобус до Москвы. Там попросился к офицеру в отставке Никите Голубю стеречь дачу на Оке. Вот нация! Правду говорят: ты их в дверь, а они — в окно! Ну ничто не берет, чисто тараканы.

ДУРОЧКА, или ДЕПО «ЖЕЛАНИЕ»

1

Жила себе женщина. Кем-то она там работала по медицинской части — в лаборатории, да. Это была неудача с точки зрения папы, который мог бы стать большим ученым, если бы его году в 39-м не вызвали прямо с заседания кафедры, где он только что выступил с блестящим докладом о радиоактивном облучении мух-дрозофил. В своем докладе папа ссылаялся на немецкие опыты профессора Тимофеева-Рессовского, с которым имел несчастье недолгое время состоять в переписке как со старшим коллегой. Переписка носила сугубо научный характер, да и пересохла давным-давно, когда папа был еще аспирантом, а Тимофеев-Рессовский нависал страшным глазом над микроскопическими мушками, неугодно размножающимися под его гениальным приглядом. Еще коварная родина не подманивала Николая Владимировича в свои красноперые объятия,

и только мухи складывали неисчислимые безмозглые головенки во имя теории наследственности. Однако после отказа Тимофеева в 37-м прервать опыты и срочно проследовать студеным маршрутом (который так и так от него не ушел) о переписке вспомнили. Возле беспечного папы стали шиться какие-то чуть навязчивые, но в целом симпатичные и веселые люди — ну и вот. Таисия, как ее там, Павловна... Петровна... короче, Брунгильда из приемной, губки бантиком, большие косы короной: тук-тук, очень извиняюсь, Дмитрий Андреич, на секундочку... И все головы повернулись за ним, а профессор Вельтман вдруг закурил против всех правил.

Папа отсидел свои десять и однажды на пересылке встретился с худым костистым человеком, похожим на ястреба. Когда выкрикнули его двойную, свистящую на повороте фамилию, папа дернулся было к нему, глухо отозвавшемуся номером популярной статьи... Но удержался и только жарко проводил глазами, когда Тимофеева и еще четверых повели к грузовику для отправки, как немедленно стало известно, в шарашку. Элитный этап, счастливый путь...

Тимофеев-Рессовский, по словам папы, был «космический человек», и его мозг и воля окрепли в лагере, будто бы питаясь неведомыми папе космическими токами. А папа сломался. Жена развелась с ним в первый же год. Потом долго нельзя было в Москву (и еще минус десять городов), а когда стало можно, его уже никуда не брали. С *площади* давно выписали, и жил он на чьей-то старой холодной даче. Стал кашлять и согнулся, словно стараясь

спрятать поглубже больную грудь. Однажды в вагоне метро на него долго смотрела немолодая, как и он, женщина, папа смутился и опустил глаза. «Митя?» — робко спросила женщина, и он узнал Лялечку. Лялечка работала теперь научным сотрудником в зоопарке и устроила Митю лаборантом. Но очажок в легких все тлел и медленно сжигал папу, как отсыревшую папиросу.

И опять спасла та же святая Лялечка. Пригласила в какую-то шумную компанию, где пели замечательные песни советских композиторов и пили крымское вино загорелые молодые люди. И они увезли Митю с собой в Севастополь, куда он последовал за ними, легко и послушно упившись красным массандровским портвейном и манящим адресом: Институт южных морей... То есть, разумеется, биологии южных морей, сокращенно ИНБЮМ. Но от мороженное ухо вычленило тепло и незабытую мальчишескую удаль детей капитана Гранта — а ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер... Веселый ветер.

Из Севастополя Митя очень скоро перебрался в филиал — на Карадагскую биостанцию. Там под низкими звездами, чьи голоса цикадами гремят в ночи и тают к рассвету, когда занимается вдали жемчужно-розовый ломоть Меганомы, на веселом ветру, изрезавшем берег кулисами бухт, — в этом, можно сказать, экологическом театре папа, наконец, отдышался и, как мидия, колонии которых он теперь выращивал и изучал, крепко-накрепко прилепился к днищу своей последней баржи. К маленькому оштукатуренному

✧ дому на горе, в тени сада, где в апреле цвел абрикос, а в июне распускались рослые, утыканые малиновыми и розовыми оборчатými цветами мальвы.

Жил Митя один. По хозяйству помогала уборщица из института, старая татарка Фарида. Иногда прибегала помочь бабушке круглолицая Рая: длинная шея, темно-румяные скулы, пушистые подмышки, мелькание маленьких грязных пяток из-под пыльного подола. Невесть с чего ее то и дело разбирало безумное веселье, она тряслась от рвущегося хохота и порой, вся красная, вылетала на крыльцо, где давала, наконец, себе волю, и смех ее градом сыпался в сад, как черешня с дерева.

Родители и две тетки Раи сгинули где-то в Казахстане, Фарида же с годовалой внучкой отсиделась в лютые годы депортации по добрым людям. И теперь, как часто, слишком часто говорила, ждала только смирного дядьку, можно и русского, лишь бы не пил — пристроить Рамилю замуж, а там уж и постучаться в калитку райского сада.

Дмитрию Андреевичу шел пятьдесят первый год. Райка, поднимая сверкающие брызги, неслась в своем длинном, пестром, мокро облепившем ее платье по отмелям семнадцатилетия. «Мития» был бледен с лица, загар не лип к нему, навек промороженному на белом ледяном ветру. Улыбаясь, он привычно прикрывал рот чуть дрожащими пальцами: стеснялся редких зубов. Но ростом был высок, хоть и сутул, и разговор был у него мягкий, ласковый, пусть не всегда и понятный. Боль из выстуженных ревматических коленей сама Фарида выгнала ему своими гор-

ными травами. В общем, не возражала. Заикнулась было, что не худо бы съездить в Бахчисарай, там в пещерах Чуфут-Кале живет старый мулла, обращает неверных. А нет, так хоть неподалеку в Старом Крыму тоже есть полуразрушенная мечеть, Фарида знает там стариков, что могут поженить по Закону... Но Дмитрий Андреевич отказался наотрез: «А почему бы сразу не в Мекку? Хорош я буду, обрезаться на шестом десятке. Нет, Фарида, какой уж из меня муслим...»

Бабка вздохнула, но рассудила, что Мития и безбожником, как есть, будет Рамиле и за мужа, и за отца.

Почти так и вышло. Только мужем Дмитрий Андреевич был Рамиле недолго. Первые месяцы маленькая мусульманка покорно ложилась подле хозяина и, крепко зажмурившись, принимала его долгие ласки, хотя крепкие бедрашки как бы помимо воли сжимались туго, аж до скрипа, разомкнувшись лишь раз, и бедный Дмитрий Андреевич понял, что глухой стон, почти рычание девочки-жены был голосом не радости и никакого там не блаженства, а лишь боли и отвращения. Не захотел ехать в Чуфут-Кале, получай теперь, усмехнулся про себя неверный Митя. Больше он не мучил свое «татарское иго», только осторожно баюкал по ночам, благодарный, что это теплое, и пряное, и юное, и золотое позволяет держать себя в объятиях — ему, слабому щербатому старику.

Через три недели выяснилось, что в ту единственную ночь один старательный сперматозоид на сто процентов использовал свой первый и последний шанс и достиг цели. Старая ведьма положила

костлявые пальцы на плоский внучкин живот и послала свой косо́й рентгеновский луч в ее молоденькую утробу. Слава Аллаху, Рамиля, голубка. От дочек внука не допросилась, так, видать, и померли пустоцветами. Сноху же Аллах тобою благословил. Нельзя без мужчины род оставлять. Нельзя корень рубить, высохнет дерево.

Фарида снизу, с маленькой скамеечки, на которой теперь дни напролет посиживала в доме зятя, придирчиво следя, как белкой носится по комнатам молодая хозяйка, взглянула на оробевшего Дмитрия Андреевича, сплющила печеные щеки в беззубой улыбке. «Ишь, шайтан! Заделал нам батыра, даром что калечный. Ну, обнимитесь, дети. Вот хрен тебе, лысая, не пойду с тобой, пока батырчика нашего не дождусь!»

Трижды ошиблась ведьма. Не дождалась она урожая от Раи-Рамили. Аллах прибрал ее аккуратно в последний день рамазана, счастливую и очищенную двадцатидевятидневным постом. В день похорон старухи зацвел абрикос. «Хорошая примета», — подумала Рая, сломала ветку и положила сверху на саван.

Татарские кладбища сровняли с землей по всему побережью, а от погоста, где хоронили старуху, до самой Ялты не было ни одной даже православной церкви. Из Старого Крыма приехал на скрипучей арбе древний, как прах, татарин — из тех самых, видать, которые знали *Закон* и держали между собой связь по своим неведомым мусульманским каналам. Рамиле и другим женщинам на кладбище идти не велел, Фариду приказал спеле-

нать и на ковре нести к могиле. Могила рыли тоже по его указаниям — с нишей в боковой стене, куда и опустили высохшее, невесомое после святого поста тело, прикрыв его старым ковриком. Мите страшно было смотреть, как легкий кокон без гроба ложится в землю: так же закапывали и *там*, прямо в мерзлоту, «под бульдозер», в чем есть. На выходе с кладбища к нему метнулась из тополиной тени пузатая Райка и без слез повисла новой тяжестью, чем-то нежно и неотвратимо толкнув из живота.

Назавтра Рамиля родила, и обнаружилась вторая ошибка бабушки. Совсем не батырчик явился на рассвете из мучительных и кровавых узких недр. Недоношенная девочка, кислое яблочко, больше суток буравила скорлупу сизой головкой, непосильной для крошечного тельца. А выдернутая на свет божий, широко открыла рот и молча посмотрела мимо акушерки Мите прямо в глаза. Он узнал эти скорбные глазки и горестный ротик. Осторожный шлепок по попке (размером с крупную сливу и того же цвета) был первым из неисчислимых ударов, которые будет этот синий курчонок сносить кротко и долго, терпеливо неся зарытый где-то среди хромосом неистребимый папин ген незадачливости. Дочка зажмурилась и жалобно мяукнула.

Но корню рода Фариды не полагалось усохнуть. Трижды ошиблась ведьма. Одна из ее дочерей, бешеная красавица Фатима, умерла совсем не пустоцветом.

Училась Тата старательно, но неважно. Отец с грустью смотрел, как до глубокой ночи сидит она, тупо уставясь в учебник, и время от времени раздраженно ерошит свои пушистые и белые, почти седые волосы короткими пальцами с обгрызенными ногтями. Рамиля к тридцати двум годам превратилась в изможденную старуху: привыкший к подростковой стройности жены Дмитрий Андреевич слишком поздно заметил, как живая ящеричная гибкость превратилась в ломкую худобу, лаковые глаза потускнели, словно обсохшая галька, и смуглый румянец гладких скул сменился вялой желтизной лежалого яблока-паданца. В гадкой симферопольской больнице старуха-докторша долго мяла Рае холодными пальцами живот, потом долго что-то писала и так же долго и задумчиво смотрела на Митю из-под черепашьих век. Потом закурила сама, протянув через стол и ему пачку «Беломора», как не раз бывало в следовательских кабинетах: «Курите». Дмитрий Андреевич понял, что это приговор, и почему-то сразу поверил, и как-то обессиленно успокоился. Он не захотел оставлять Раю в этих изъеденных грибком безнадежности стенах, в аммиачной вони свалявшихся матрасов. «Вы правы, — холодно сказала докторша. И добавила вдруг с неожиданно горьким упреком: — Что ж так долго собирались, голубчик мой?»

После этого Рамиля жила еще три года. Почти все время лежала и почти ничего не ела. Каждый

проглоченный кусок мучительно, с зеленой желчью извергала назад. Хозяйство легло на четырнадцатилетнюю Тату, и школа постепенно переместилась как бы в чулан ее жизни, наподобие потерявших смысл детских игрушек. Перед экзаменами за девятый класс к Дмитрию Андреевичу зашла новая классная руководительница дочки, испуганная девушка, скрывающая панику за строгими очками. От тяжелого духа болезни, пропитавшего дом, учительница растеряла остатки отваги и пролепетала: «Я не вовремя? Зайти попозже?» Дмитрий Андреевич вывел ее в сад, усадил в беседке, заплетенной виноградом, и нацедил вина из пыльной бутылки. Девушка выпила стакан мелкими глотками. «Вы не думайте, — сказала она, — мы все понимаем. Ваши обстоятельства... Я говорила с директором... Мы сделаем Танечке аттестат, потом, если захочет, можно окончить вечернюю или техникум... Например, училище у нас очень хорошее медицинское... Вы согласны?»

«Разумеется, — кивал папа, — ничего страшного. Конечно, медицинское училище. Очень хорошая мысль. Вы не расстраивайтесь, милая барышня. Я вам очень признателен. Еще винца?»

К осени Рамиля умерла, о чем накануне сообщила Тата. Ночью вошла она в комнату, где у постели мамы отец прислушивался сквозь дрему к ее хрипу. «Иди спать, — сказала Тата. — Еще не сегодня». «А когда?» — спросил со страхом Митя. «Завтра к вечеру». Дмитрий Андреевич счел этот краткий эпизод сном. Но именно назавтра и именно к вечеру Рамиля всхрапнула в последний раз и затихла.

К смерти матери Тата отнеслась на удивление равнодушно. За годы, что таскала она горшки, мыла мать, меняла и стирала ее белье, работала в саду, неутомимо чистила дом, словно бы загнивающий вместе с гниющей Рамилей, варила еду, торговала на рынке ранней клубникой и абрикосами, Тата, как старый затонувший сосуд, покрылась изнутри твердой известиновой корой. Все происходящее она воспринимала с каменной тупостью, ее глаза альбиноса смотрели на прекрасные смены цветения и созревания полу-сонно, одна лишь неизбывная усталость стояла в этих гипсовых глазах, и больше ничего.

Зимой она явилась к отцу в филиал так называемого ИНБЮМ, где загорелые молодые люди изучали кипучую биологию южных морей, и с той же покорной усталостью принялась за мытье лабораторной посуды. Загорелые молодые люди сперва с интересом посматривали на молчаливую белую девушку, на ее волосы, словно пух одуванчика, и молодые ноги под коротким халатом. С ней пытались шутить и даже приглашали на вечеринки, но Тата никогда не улыбалась и никуда не ходила. Ну и перестали ее замечать, сочтя дурочкой. Дмитрия Андреевича провожали жалостливыми взглядами.

«Надо учиться», — сказал ей отец осторожно, когда зацвел абрикос. «Ага», — без выражения согласилась Тата и села готовиться к экзаменам. Даже среди провинциальных троечниц, которые, в основном, и заполнили щебечущей стаей обшарпанные коридоры и садик медучилища (*утопающий* в желтых акациях), Тата сумела выделиться своей бес-

толковостью. Однако в училище был, как всегда, недобор, и ее зачислили с двумя шаткими тройками по химии и биологии, но пятеркой за диктант. Писать Тата научилась в четыре года сама и, не зная ни одного правила, изумляла всех своей грамотностью, нелепой на фоне ее глубокой посредственности и общей тусклости.

За три года учебы Тата приобрела кличку Моль, на которую не реагировала, и ни с кем не сблизилась, даже сидела одна, всегда за последним столом у окна. Ее память не удерживала никакой знаковой информации, она с огромным трудом отвечала на самые простые вопросы из области фармакологии или анатомии. На третьем курсе после зимней сессии Тату решено было гнать к чертовой матери, что само по себе, учитывая общий уровень заведения, было фактом исключительным.

Вечером после педсовета директор училища Степан Тимофеевич Осадчий выпил за ужином коньячку «для сосудов» и, сладко закулив, приступил к «разбору полетов» — двадцать лет они с женой крепили эту традицию: рапортовать друг другу о событиях дня. «Казни меня, Маша, но сегодня впервые проголосовал за отчисление. Много дур я повидал в нашей богадельне, но такой у меня...» «Степа, — перебила Мария Юрьевна Осадчая, известный в городе травматолог. — Мы задыхаемся без персонала, одна сестра на отделение! Спасибо скажи, что кто-то вообще еще к вам идет. Не до жиру, знаешь ли!» «Да ты бы видела ее! — возражал Степан Тимофеевич. — Двух слов связать не может, желудочки серд-

ца у нее относятся к органам пищеварения! Чистое чучело: на башке белый пух какой-то, рожа сонная, вся, черт ее знает, белая, непропеченная. Офелия, будьте любезны! Мучная моль!»

Мария Юрьевна Осадчая, известный в городе травматолог, повела себя странно. Костяшками сильных пальцев она стукнула мужа по лысине и объявила довольно громко: «Идиот! Ты и твой отстойник — сборище идиотов! Поздравляю. Это Таня Мышкина! Она у меня практику проходила прошлым летом! Не медсестра, а дар божий! Из других отделений на нее смотреть шли! Золото девка, профессор Пирогов! Подотритесь вашими дипломами, я с завтрашнего дня беру ее на работу!»

С этими словами Мария Юрьевна Осадчая, грубая, как все травматологи, ушла в спальню и хлопнула дверью.

И Тата стала работать в травматологическом отделении небольшой крымской больницы, откуда ее через пять лет упростили на городскую станцию переливания крови, потому что она не только входила в любую вену, как тихий ангел, но и каким-то неведомым образом, едва взглянув на человека, определяла его группу крови, а также резус-фактор, количество гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов, которые называла «эти штучки».

Вот таким образом и жила себе, как было сказано, эта белобрысая женщина, вернее, девушка, изо дня в день осуществляя забор крови. Бесконечные вереницы людей проходили перед ней, не догадываясь, что гипсовая сестричка, усидчивой белизной похожая на

парковую скульптуру или надгробие, различает многоголосый ток в их старых, как веревки, или упругих молодых венах, и этот шум, словно лепет леса или, скорее, моря, не дает ей соскучиться. Хотя Дмитрий Андреевич, ее старенький папа, по привычке считал дочку неудачницей, приписывая ей собственные комплексы и свойства. Я бы рискнула назвать сей глубоко присущий человеческой природе феномен синдромом Цахеса. Биологический механизм популярного синдрома на примере мух-дрозофил отчасти открыл и объяснил Н.В.Тимофеев-Рессовский в так называемой теории мишени. Радиоактивное излучение (продукт распада неустойчивого атомного ядра), направленное на муху (на клеточном уровне подобную, как ни странно, человеку), вызывает мутацию ее генов и хромосом, тем самым разрушая бедное насекомое. В каком-то смысле высокоорганизованная и сложная внутренняя структура Тани Мышкиной являлась мишенью для комплексов ее неуклонно стареющего папы, внутри которого время творило процесс распада. Так ветер и вода разрушают скалы, образуя бухты, гроты и фьорды, чему наивно радуется человеческий глаз, не вникая, что является свидетелем ме-е-едленной агонии планеты.

3

Рустем Тимофеев, председатель совета директоров банка «Нура», сорок минут сидел в пробке у съезда с Белорусского моста на Тверскую.

— Ну так, Леша, — пугающе тихим голосом обратился он к шоферу, закуривая третью папиросу. — Говорил я тебе или нет ехать через Сущевку?

— А чо говорить-то, Рустем Николаич? — огрызнулся потный Леша и тоже воткнул сигаретку в ржавый мох усов. — Как ни ехай, все одно застрянешь. Пятница... — Он злобно покосился на шефа, не желающего учитывать железных закономерностей микроустройства.

— Сказано ведь, кажется, не курить за рулем.

— А чо... Все одно стоим...

От жары, навалившейся на город в июле 1998 года, люди теряли чувство реальности. Личный шофер банкира Тимофеева Алексей Салаго дал волю накопившемуся раздражению, забыв и думать о хрустящем холоде, исходящем от начальника, словно сидели они не в банкирском «ауди» стального цвета, а на ящиках у пивного ларька в Ховрино, причем, что характерно, Алексея там несправедливо обошли и не налили по второй.

Сам же банкир, сдержанный красавец сорока девяти лет (из тех лишенных обаяния красавцев, что отпугивают попрошайек и женщин синевой булатного подбородка, конскими ноздрями и тонким гневом бровей; другими словами, слишком интенсивный красавец, то есть почти урод), испытал вдруг дикое чувство беспризорной свободы. Раскаленная улица задрожала и поплыла, как степь, где летят под низким ветром, едва касаясь земли, сухие колючие планеты перекати-поля. Бесконечный слипшийся сгусток слепящего стекла и металла, словно гигантский

натек смолы, расплавился и зарядил на солнце, плеснул прохладой. «Руська, — вопили пацаны, — давай не ссы, тута неглубоко!», река лизнула твердый волнистый песок, и он побежал, вздымая стеклянные брызги, и сразу стало по грудь, а потом по шейку, Руська оттолкнулся и заколотил по воде руками и ногами, и течение подхватило его и понесло туда, где, замедляя бег, Нура впадает в озеро Тенгиз, заросшее по берегам тростником, в котором гнездились утки — далеко-далеко от бараков, никто не видел этого синего озера, и неизвестно, существовало ли оно на самом деле... Тугой узел галстука впился под кадык, как колючая проволока, Рустем обеими руками растянул петлю и дернул тугой воротник, отрывая верхнюю пуговицу зеленой шелковой рубашки.

— Вы куда, Рустем Николаич? — Алексей изумленно глядел, как шеф, пробравшись сквозь отару блеющих машин, шагнул на тротуар моста и скрылся в черных дверях метро. Перепуганный, он закричал, перекрывая рев гудков: — Без охраны, беньть! Чо мне, машину кидать? Во прикол...

— Ты, дверь закрой, козел! — рывкнул из джипа бритый и багровый с белыми зенками. — Бабла, сука, лишнего намутил?

— Да-я-те-блядь-мозгами-танк-твой-уделаю-на-хер! — успел согласно уставу выпалить Леша Салаго, перегнувшись вправо, но тут машины дружно зарычали, пробка дернулась, и Алексею ничего не оставалось, как захлопнуть дверь и тихо тронуться вместе со всеми запертыми в асфальтовое русло навстречу своей бессмысленной судьбе.

Рустем, освобожденный и счастливый, бежал вниз по эскалатору, сунув галстук в карман брюк, легкий же полотняный пиджак закинув за плечо. Подземный ветерок обдувал его лицо и шею, мобильник молчал, как пловец, захлебнувшись непроходимой глубиной. Портфель с бумагами остался в машине. Рустем Тимофеев был красивым частным лицом от силы тридцати пяти лет, он был отключен и временно недоступен для клиентов, конкурентов, партнеров, жены, челяди и двух сыновей, один из которых валялся сейчас на продавленной раскладушке в обнимку с голой девкой и переживал радости *прихода*, другой сидел под японским кондиционером у себя в офисе и наблюдал, как двое бритых бугаев ломают руку лежащему на ковре толстому парню в шортах, который *намутил слишком много бабла*.

Рустем легко сбегал по эскалатору, улыбаясь девушкам. Девушки плыли навстречу, наверх, задом наперед, глядя вслед породистому красавцу поверх голов своих мальчиков, стоявших ступенькой ниже; мальчики же в ожидании осеннего призыва угрюмо сопели и думали: «Понаехали черножопые, давить вас, гадов, не передавить».

Два дня оставалось Тане гулять по Москве в качестве премии за отличную работу. Приютила ее, разумеется, та самая Лялечка, которая, как и положено святым, не была подвержена тлению. Чуть сгущенная кровь старушки мелодично омывала ее сосуды беглыми глиссандо арфы. Лялечка пребывала в постоянном движении, как бы боясь остановиться, словно балерина, в пуанты которой врезан

шарнир. Она то и дело перепархивала с предмета на предмет — с дивана на подлокотник кресла, оттуда к плите, на секунду присаживалась на краешек вращающегося табурета у пианино, быстро наигрывала пару фраз и неслась к шкафу, звякала чашками, взмахивала накрахмаленным крылом скатерти и сновала вокруг стола. Тата с нежностью смотрела на пунктирный полет пернатой старушки и вдыхала ее запах старых духов и пудры — аромат реликтовой перчатки, усохшей до размеров детской ручки, с перламутровыми пуговками на запястье.

Днем они садились в троллейбус и ехали до Никитских Ворот, откуда начинались их прогулки. Лялечка призналась, что, гуляя по бульварам, вдоль которых повылазили из-под земли полосатые зонтики и бесчисленные белые столики с пластмассовыми стульями, она воображает себя в Париже, *городе своей мечты*. «Тебе хочется в Париж?» — спрашивала она Тату, заглядывая снизу ей в лицо. Тата пожимала плечами. Никуда ей особенно не хотелось. Она и в Москву-то поехала, потому что папа умолил: хоть так, опосредованно, бросить последний взгляд на *родину*. Как дети, ей-богу. Тата прекрасно обходилась без всяких этих глуповатых желаний. Вместо желаний в ней скапливались и наслаивались ощущения. Если ощущения были приятными, она условно называла их про себя любовью. Ей нравилось, как легко лежит невесомая морщинистая лапка на сгибе ее локтя, нравился аромат бальной перчатки, нравились влажные дуновения арфы, исходившие от Лялечки. Накинув старинное

платье из пожелтевшего гофрированного шифона, она замерла в нем, будто под душем, и увидела себя восхищенными глазами старушки, которая вглядывалась в нее, как в волшебное зеркало, и Тата, дробясь, растворялась в нем, словно в родных объятиях, душный уют которых давно забыла. «Елена Васильевна, знаете, — оповестила она своим ровным голосом, — когда вы умрете (Лялочка нахмурилась), я сильно буду скучать по вас. Сильнее, чем по маме». «Не говори глупости, — сердито и растерянно сказала Лялочка. — И вот что. Побрей-ка, милая, подмышки». «Зачем?» — удивилась Тата.

Разумеется, сводила ее Лялочка и к себе в зоопарк. Очень ей хотелось выполнить тайное поручение Мити — познакомить Тату с приличным интеллигентным человеком, хорошо бы вдовцом средних лет, поскольку самой Таточке шел уже тридцать восьмой годочек и она, можно сказать, заневестилась. А в секторе рыб был как раз у Лялочки на примете подходящий ихтиолог, тихий любитель одиночных вылазок на природу, автор скудной книжечки стихов «Туманные росы», изданной за свой счет. Пару лет назад рыбовед похоронил жену и до позднего вечера теперь торчал возле своих аквариумов, постукивая в стекло пальцем и ласково бормоча. Сутулостью и редкими зубами Аркадий Кузьмич напомнил Тане отца. У него пахло изо рта: старая язва остро нуждалась в домашней пище. Тата рыбоведу не понравилась. «Какая-то малахольная», — шепнул он Лялочке испуганно. Впрочем, знакомя Тату со своими любимыми радужными вуалехвостками,

на всякий случай спросил: «Я слышал, крымчанки большие мастерицы по части еды?» «Ага, — Тата зевнула. — Папа любит, как я рыбу жарю».

К концу своего отпуска Тата совсем отупела от жары и большую часть времени проводит с Лялечкой дома, в гулкой квартире на площади Восстания, которую Елене Васильевне Котовой вернули на волне кампании «Совесть без границ» как дочери незаконно репрессированного. Они пьют наливочку и чай со льдом, похожие, как две белые кошки — молодая и старая. Как и следует белым кошкам, обе глухи. Поэтому Лялечка неумоимо рассказывает Тате о своей жизни, о дружбе с ее отцом и о своем отце — секретном конструкторе истребителей Василии Котове. Совместно с инженером Баем они разработали модель управляемого с земли беспилотного истребителя и между собой называли его «КОБА» — за что обоих и расстреляли, а чертежи уничтожили. Лялечка уносится в память о войне и о своем муже, пропавшем без вести в ополчении. Как ждала его много лет, а потом состарилась и стала святой. Она без устали перебирает желтые кружева подробностей, история шумит вокруг ее белой головы, наполняя комнату голубиным хлопаньем крыльев, но радар Таты пеленгует иные сигналы... Мурлычет, свернувшись в кресле, старая белая кошка, прижмурив голубые глаза. Внезапно штормовой порыв ветра с треском и звоном выбитых стекол врывается в комнату. Валится от сквозняка посуда с полок, и сорванная ураганом занавеска цепляется за большое зеркало в резной раме, облепив его, как будто в комнате по-

койник. Словно тени облученных мушек, запаянные в янтарь, падают со стен фотографии в застекленных рамках, рая осколками тени теней. Испуганная кошка поднимается в своем кресле на задние лапки, передними опираясь о тугой столб ветра. И ветер легко подхватывает хрупкое пушистое тело и, держа его распластанным на огромной своей ладони, выносит в окно. И кошка летит, отсвечивая белым серебром, с ураганной скоростью пятьдесят четыре метра в секунду летит на запад по воздушному коридору Красная Пресня — Париж и таращит в изумлении и сладком ужасе свои голубые глаза, свесив мечтательную голову вниз с ладони ветра.

А там, внизу, метель из тополиного пуха и старых писем стремительно заносит следы разрушений.

Когда до отъезда осталось два дня, гостя столицы решила покататься, наконец, *на этом знаменитом метро*.

На эскалаторе станции «Белорусская»-радиальная, куда вынесли силовые линии магнитного поля малахольной ее судьбы, Тата услышала вдруг напряженное гудение, какое можно услышать на пасеке или под мачтами высоковольтной линии. Тата различила в этом звуке плеск речной волны, шелест тростника, жужжание мухи, бьющейся в мутное стекло барачного окошка, женский голос, шепчущий на полужнакомом языке сонную песенку сквозь свист вьюги, скрип снега под валенками конвойного, скрип деревянных ступеней, скрип кроватных пружин и разохшихся половиц и шорох колючих клубков, летящих под низким степным ветром, едва

касаясь жесткой земли. Тата привыкла к разным песням, что дула ей в уши чужая кровь, но никогда эти голоса не захватывали ее с такой силой и властью. Когда они поравнялись — вся белая, облачно-перистая, шифоновая Таня и мужчина с лицом коня под зеленой шелковой попоной, — она еле удержалась на ногах, схватившись за поручень. Грохочущая волна едва не сбила ее; на голом плече вспух тонкий розовый рубец.

Хлыст бровей, свист нагайки, косые скулы, топот табуна, визг орды...

...Тата воткнулась в тишину, как в вату. Встречные потоки разнесли их.

4

На заседании совета директоров Тимофеева прождали час. Сотовый молчал (в одной из урн Московского метрополитена имени В.И.Ленина). Домашний автоответчик женским голосом с плохим произношением капризно предлагал оставить «message after the bip». На всякий случай связались с доверенным лицом из ФСБ. «Может, на дачу?» — высказал неплохую мысль необстрелянный директор из новеньких. «Херня, — возразили опытные директора. — За каким ему на дачу-то среди дня переться!»

Однако именно в эту как раз минуту Рустем Тимофеев выходил, смешавшись с толпой садоводов, на перрон станции Расторгуево Павелецкой железной дороги, где за поселком городского типа, смер-

дящем помойкой и выхлопными газами, можно было свернуть с шоссе на проселочную дорогу, а с нее сойти в поле с копошащимся вдали жуком-трактором, пересечь поле по комковатой сухой меже и войти в лесок. И леском, леском, сыроватой тропинкой под чириканье и посвист невидимых птиц обогнуть пруд и выйти к косогору, куда взбегали одиночные связистки-березы, молнирующие донесения в деревню. С другой стороны деревня спускалась к излучине. В одном месте речка подмыла берег, устроив под обрывчиком с перфорацией стрижиных гнезд маленький песчаный пляж. Над этой белесой бровкой, оттопырив губу балкона, нависал дом. Простое соразмерное строение в два низких этажа, обшитое мореными досками, с плоской крышей и открытой верандой профилем на речку. От нее к пляжу вели ступени, выбитые прямо в глинистой почве берега в два человеческих роста.

Рустем не любил свою усадьбу в Жуковке, устроенную согласно представлениям жены о *барской* жизни. Белая колоннада под треугольным портиком, две скобки лестниц с вазонами, лужайки, бассейн, несметные комнаты, штат прислуги, воцеленные полы, шелковые маркизы на венецианских окнах, белый рояль, на котором никто не играл, ковры и портрет самой жены в виде несуразной нимфы на качелях, за который этот павлин Никас заломил пятьдесят зеленых штук. Дурная, хамская роскошь — Светочка обжиралась ею, как икрой и зимней клубникой, наголодавшись в своем Пермском театре оперы и балета, откуда Рустем вывез ее,дох-

ленького лебеденка с детскими недоразвитыми грудками и затянутыми до раскосости глаз висками. Светочка в тот год только окончила знаменитое училище и была дико трогательна, как все юные балерины: шейка с выпирающим позвонком, мелкий выворотный шажок с носка на пятку, восторженные глазки и упоительный носик сапожком. Рустем жил тогда с двумя сыновьями-старшеклассниками. Первая жена безуспешно лечилась от алкоголизма на почве тоски и двухлетнего безделья в Париже, где Рустем в начале своей карьеры налаживал банковские связи. Женам советских эмиссаров работать не разрешалось (видимо, в целях ограничения ненужных контактов), и добрая женщина, до рвотного спазма набегавшись по магазинам и музеям, приохотилась к одиноким домашним попойкам с дешевым розовым вином. По истечении командировки Рустем привез в Москву закоренелую пьянь. Четыре нарколога сколотили на ней приличный капитал, что не помешало Ларисе Тимофеевой на официальном завтраке с французскими инвесторами (в ходе которого открывались широкие перспективы для молодого банка «Нура» и ее любимое розовое лилось рекой) наклюкаться до полной бесконтрольности реакций и обоссаться в полном смысле этого слова, сползая с ампирного полукресла в стиле одного из ложных Людовиков. Тут уж хищных наркологов сменили еще более кровожадные адвокаты, и после муторного развода Лариса была сослана в город Бостон, где ее следы затерялись в обществе анонимных алкоголиков.

Человек слова, Рустем со своей маленькой лебедью резину не тянул, хотя в венчании трепетной Светочке было решительно отказано. Но и невенчанная, молодая жена освоилась в момент, с упоеанием и пчелиным усердием (воспитанным в ней балетным училищем) взявшись лепить свои соты.

Рустем же, которому к сорока пяти годам многие стороны жизни осточертели и даже, можно сказать, обрыдли, избрал доступную ему, слава Аллаху, политику регулярных отступных, которыми откупался от домочадцев, и вот через верного мужика построил себе это партизанское убежище по-над речкой. Приют угрюмого скитальца, вариант рая, который заслужил конкретно он в том самом компромиссном смысле — не свет, но покой.

Верный мужик Толя Монахов по прозвищу Турок (полученному в детстве за большой крючковатый нос, дикий черный волос и общую ярость нрава) сорок лет назад возглавил их совместный побег из детского дома. Чернявые, как братья, только Руська тонкий, как прут, а Толик плотный и кривоногий, — пацаны и считались братьями, и беспризорная их дружба была что черный сухарь — каменной крепости. Многомесячный путь лежал от поселка Малые Шахты Карагандинской области до Москвы и включал все возможные виды транспорта плюс верблюды. Тогда, в начале их голодного и страшного — с кровавым поносом, вшивыми ночлегами, обмороженными ногами, угольными платформами, облавами — путешествия Руське шел десятый, Толику же стукнуло четырнадцать. Но вот уж тридцать лет,

как верный Толя сложил с себя полномочия старшего товарища и учителя жизни.

Однажды Турок, уже взрослый вор, по-глупому засыпался на грошовом магазинном деле. Дело попало к следователю, у которого, на беду, имелся ви-сяк — убийство инкассатора, совершенное в том же районе. Следователь радостно связал его с новым ограблением и настрепал кучу эффектных ули-ков. То-ле Монахову засветило от десяти до пятнадцати, е-сли не похуже.

Молоденький Руська вызнал через московских татар все про легендарного Хана, парализованного владыку мусульманского криминала в радиусе Ле-нинград — Астрахань. Хан, как выяснилось, состоял в близком родстве с влиятельным лицом из россий-ского муфтиата. Выучив для начала наизусть девя-носто сур Корана, Рустем добился приема у этого имама и после четырехчасовой беседы о природе откровений Магомета был удостоен перстня с не-большим агатом, а также снабжен рекомендатель-ным письмом к Хану в Казань. «Я помогу тебе, моя умница, — сказал Хан сладко, и его жирное безво-лосое лицо растеклось в медовой улыбке. — Но уж и ты выполни, сынок, мою просьбу, не откажи ста-рику...». И Хан вновь весь так и залучился лаской. «Мои люди, — сказал он, — доставят тебя в Баку, там получишь для Хана посылочку. Сделаешь?» Ру-стем пожал плечами: «Постараюсь». «Ты уж поста-райся, — огромная подушка Ханского тела заколы-халась от смеха. — Постарайся, моя умница. А то мальчишки у меня горячие. Жик, — жуткий старик

пощекотал большим пальцем у себя под челюстью, — и молчи-молчи. Ай, как мама станет плакать...» Старый кривляка сморщился и зашлепал губами. «Не станет, — усмехнулся Рустем. — Померла мама. Провалилась под лед, — он в упор весело взглянул на Хана, — и молчи-молчи».

В Баку к Рустему на улице подскочил замызганный босой тип с парой стоптанных ботинок в руках, забормотал, трясясь: «Купи штиблет, малчик, совсем дешево отдам...» И пошел на него, толкая грязными подошвами в грудь. Рустем хотел двинуть побирушку по шее, но тут его взяли за шкурку и впихнули в узкую, пропахшую мочой щель между домами. Там, обхватив сзади поперек живота, приподняли над землей, зажали рот идохнули в самое ухо: «Хану гостинчик. С ног на ноги сдашь. По дороге сымешь — зарежем». С руськиных ног скovyрнули новые сандалеты, натянули чужие вонючие башмаки на номер меньше, и отбыл курьер в обратный путь, ни разу за неделю не разувшись и так никогда и не узнав, что в крепких, наново подбитых каблуках старых башмаков перевозил в третьем классе теплохода «Серго Орджоникидзе» сорок пятиграммовых доз героина: операция, Кодексом приравненная к валютным, то есть вплоть до высшей меры.

Хан обещание выполнил. В Подольске Рустем получил конверт с фальшивыми документами для Толика и для себя и направление из милиции на работу в Подольское ИТУ (под именем Мусы Атыбатова) шофером мусоровоза, на котором и вывез товарища

в мусорном баке далеко за пределы зоны. Объявленный в розыск Анатолий Монахов в течение года не нашелся, но в разгар следующей весны (акkurat когда ровесники Рустема Тимофеева вклеивали последние фотки в дембельские альбомы перед тем, как оплеванными вернуться из оплеванной Праги) в лесу под Клином был найден так называемый подснежник. Личность его установить не было никакой возможности, однако на груди трупа под истлевшей одеждой нашли чудом сохранившееся письмо с расплывшимся (химический карандаш) обратным адресом. Начиналось оно словами: «Здравствуйте, Анатолий Монахов. Пишет вам заочница Анна...»

С этих пор первенство в их дружбе безоговорочно перешло к Рустему. Толя Монахов страшной клятвой поклялся завязать с прошлым и вместе со своей новой, никому не интересной и не подконтрольной фамилией ушел в тень. Эта тень, собственно, и стала второй жизнью Рустема — ее истоки совпадали с горным ручьем, откуда брала начало Нура, а дельтой служило синее озеро Тенгиз, куда уплывал Рустем Тимофеев в своих также никому пока не интересных и не подконтрольных снах.

Толя сторожил тайную «избушку», содержал ее в образцовом порядке, вел здесь свое хозяйство и был известен в окрестных деревнях и дачных поселках как большой мастер по плотницкой, столярной и печной части. Кроме того, резал он курительные трубки, в чем достиг больших высот и даже прославился. Денег у Рустема не брал никогда.

— Здорово, хозяин! — окликнул Рустем, облокотившись на перила веранды.

Анатолий, оторвавшись от изогнутой черешневой чурочки, которой предстояло на этот раз стать усладой их общего друга, журналиста и фотографа, бывалого трепача, гуляки, пьяницы и путешественника, одного из немногих, кто допущен был в «избушку» и под самой сильной банкой не пробалтывался, взглянул поверх очков, хмыкнул: «На блядки али порыбачить?» «Как покатит», — засмеялся Рустем. У самого берега плеснула крупная рыба. «Налим?» — предположил Руська. «В жопе блин, — не совсем в рифму отозвался Толик. — Отродясь в твоей говнотечке выше карася не водилось». Рустем глубоко вдохнул вечерний воздух, отшлифованный рекой, вовсе не говнотечкой, а чистой и прозрачной на мелководье, как сам воздух, и счастливая свобода залила прохладой его скомканные легкие. «Поживу маленько...» «Валяй, — согласился Толик. — Искать-то не станут?»

Как не стать? Когда ж это было, чтоб не искали у нас тех, кто прячется? Да только ищут-то чужое, а прячут свое. И потому ищеек не так трудно сбить со следа, как принято об этом думать и писать в книжках. Всю Москву и Жуковку, все бани, больницы и морги, все аэропорты, казино, станции техобслуживания и посты ГАИ прочесали сыскари из органов и частных служб. Прошерстили запеленгованных поименно баб, включая популярную супругу могучего олигарха. Допросили Лешу Салаго. Навестили известного журналиста и фотографа, выпили

с его гостями чачи и выслушали девяносто восемь грузинских баек, естественно переходящих в тосты. Вышли на старшин татарского землячества. Пробились к муфтию. Связались с двойной агентурой чеченских группировок и даже вылетели военным бортом в район боевых действий. Снова допросили Салаго Алексея Федоровича. И, провернув за семьдесят два часа эту блистательную карусель, ткнулись мордой все в те же двери станции «Белорусская»-радиальная, где растворился глава совета директоров банка «Нура» Рустем Николаевич Тимофеев. Растворился бесследно, как некогда его двойник Муса Атыбатов.

5

Многодневный зной разрешился той ночью небывалой бурей. Старые тополя во дворах, клены в парках и вековые липы у Кремля выворачивало из земли с корнем, стекла, вырванные из оконных проемов вместе с рамами, летали словно чешуйки слюды и падали за версту от дома, разбиваясь вдребезги. Ураган легко, как игрушечные, подбрасывал кверху колесами «жигули» и джипы и, поиграв, швырял оземь, отчего «жигули» разваливались на запчасти, а джипы, скрежеща, превращались в большие аккордеоны. И кошки, бедные кошки... Их вдовий плач не смолкал до утра. Заброшенные на деревья и крыши двенадцатиэтажных домов, они в панике цеплялись за карнизы и ветви, не в силах спустить-

ся, и вопили от страха. Слоны в зоопарке падали на колени и закрывали глаза ушами. Орланы с подрезанными крыльями взмывали сквозь дыры в порванных сетках вольер и парили на уровне шпиля высотного дома № 1 на площади Восстания. Один из них видел, как из окна на двадцать первом этаже вылетела белоснежная кошка, мех ее стоял дыбом и сверкал в синих разрядах молний. Голубые глаза летящей кошки сияли живым электричеством, на боку же искрили буквы, которые орлан прочитывать не смог, будучи неграмотным. Многие жители Западного округа, где шторм свирепствовал с особой силой, также наблюдали в эту ночь явление мчащегося стрелой в направлении Минского шоссе белого тела в черном небе. Высокая скорость смазывала надпись на борту объекта. Но несколько человек, в том числе семиклассник Женя Бай, вооружившись биноклями, сумели разобрать это странное слово: «КОБА». «Может, “Кобра”?» — усомнился Женя Бай, но тут мать в сердцах вытянула его собачьим поводком по заднице и окно задраила.

Забегая вперед, скажу, что два года спустя ураган достиг Европы и с той же небывалой силой разразился над Парижем. Побило стеклянную пирамиду Лувра, у гаргульи над водостоком Нотр-Дам выбило челюсть... Но обошлось без жертв, если не считать бедной киски, раздавленной огромным каштаном, что рухнул на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, расколов также гранитную плиту на могиле никому не известного белогвардейца. «Ge-ne-rale», — с трудом разобрал старый-престарый русский сторож из власовцев

полустертую надпись на верхней половине камня. На нижней, прижатая стволom, лежала погибшая кошка. Сторож раздвинул ветви с тугими пирамидками соцветий, поднял окоченелую тушку и прочитал: «Kotoff». «Женераль Котов, стало быть, — объяснил сторож самому себе. — Ну, царствие небесное». И перекрестился. А кошечку закопал подле.

Охваченная ураганным огнем Таня неслась, словно пух одуванчика (или куст перекати-поля), кувыряясь в тугой струе ветра, выдувшего из нее сначала тонкий слой мыслей, а потом, слой за слоем, все ощущения, кроме одного: страшной потери. Пожар разгорался, пламя гудело, как в домне, и сжигало гипс, корка руды, накаляясь, ломалась, сочась жидким серебром, и белые брызги с треском летели во все стороны, застывая звездами на небе, и люди шархались от этого белого каления. Таня летела среди звезд, как комета, в черном туннеле, выжженном ее хвостом. Люди толпились на платформах, не понимая, почему поезда проносятся мимо. А поезда не могли остановиться, приваренные к хвосту кометы, головой же комете служила Таня, не различимая в струях серебра. Охапку перекати-поля прижимала она к груди и не знала имени стихии, обрушенной ею этой ночью на Москву и область. И было имя тому урагану — Желание.

Облетев Москву, простегав ее, как одеяло, перекрестными подземными путями, следуя вещей, как сон Менделеева, системе, Таня пересаживалась с поезда на поезд, неслась по переходам, возникала то на «Коломенской» у кинотеатра «Орбита», то вдруг

на «Кузнецком Мосту» возле Детского мира, то на улице Сивашской под решетчатыми окнами знаменитой «семнашки» — наркологической больницы, где некогда была от жажды, вся дрожа и потея, Лариса Тимофеева, и задирала под лестницей рубашку, и санитар за стакан врубался в нее, как метростроевец, своим отбойным молотком...

Сокрушив полгорода бурей своих неистовых поисков, она опустилась, наконец, обессиленной чайкой на палубу Павелецкого вокзала. В отличие от казенных сыскарей Тата искала свое, шла на голос крови, разбушевавшийся в ее кратере Кассандры, остывшем тысячелетия назад. И этот голос, гулко отражаясь от стен безлюдного зала пригородных касс, что-то прокричал неразборчиво и раздраженно повторил: «...со второго пути... до станции Домодедово... один час пятьдесят минут... по техническим причинам... *(а именно вследствие завала полотна и иного всякого неисчислимого ущерба, причиненного городу и миру безответственными действиями Таты Мышкиной по прозвищу Моль, о чем она горько пожалеет)* ...проследует до станции Расторгуево!»

В электричке Тата задремала и не услышала, как сел возле нее мятый гражданин неопределенной наружности и спросил шепеляво: «Не желаешь поиграться?» А когда она вздохнула и положила сморенную голову ему на плечо, он осторожно вынул у нее из рук сумочку с последней сторублевкой и билетом до Феодосии, немножко потрогал за грудь и бесшумно вышел на ближайшей станции Нижние Котлы.

«Котлы... — пронеслось в сонном мозгу Таты, — котлы...» Огромные и закопченные, с остатками мяса и сала, прикипевшего к стенкам, она скребла эти котлы проволочной щеткой, отдирала ногтями пригоревшие куски и торопливо, неряшливо набивала ими рот. Былая неистовая красота тлела под серой кожей, обтянувшей лицо женщины. Она работала на кухне при засекреченном бараке, вынесенном далеко за колючку главной зоны и являвшемся центром как бы небольшого городка со столовой, клубом, баней, больницей, домиками лабораторий. Этот городок назывался шарашкой, в теплом бараке жили и что-то там изобретали ученые. Их кормили мясом, они свободно ходили по территории своей шарашки, и Фатима на кухне слышала их громкие разговоры и смех.

Сама она жила в поселке ссыльных, главным образом, немцев и татар. Каждая зима уносила родную душу: сначала сестру, потом золовку, в минувшем декабре, под Новый, 1948 год, умер, захлебнувшись горловой кровью, брат. Спасая себя, Фатима сошлась с вертухаем из шарашки, и ее пристроили на кухню.

Потом Тата увидела сухощавого человека с ястребиным носом. Он стоял на залитом луной крыльце и обмахивал веником валенки. Дверь распахнулась, ударив его в плечо, и из сеней вышла закутанная в пуховый платок Фатима. Испуганно ахнула, а человек рассмеялся.

Потом кадры замелькали путано и суматошно. Вот ястребиный человек вынимает из косы Фатимы

шпильки и пропускает между пальцами рассыпавшийся черный песок ее волос. Вот она в спущенной с плеч сорочке судорожно обнимает его, и ее лицо блестит от слез. Потом бежит за грузовиком, увозящим этого человека, и под распахнутой телогрейкой виден ее высокий живот. Так исступленно бежит овца за машиной, увозящей ее новорожденного каракульченка. Грузовик давно скрылся за поворотом черной дороги, а она все бежит, молча и тяжело, и падает ничком, лицом, большим своим животом прямо в весеннюю грязь.

Последним приснился Тане маленький мальчик, скачущий вдоль берега, разбрызгивая мелкую воду; он скачет, нарочно с силой ударяя пятками, чтобы брызги летели фонтаном. А поодаль в белой рубахе по пояс в реке стоит прекрасная женщина и моет свои прекрасные волосы. А мальчик скачет и скачет...

6

Из вагонов последней электрички вышло не больше пяти человек. Освещенный поезд, дернув с места, тут же с воем умчался в депо, и силуэты ночных пассажиров растворились под разбитыми фонарями перрона.

Таня неслась по крошечному поселку типа городского, потом по шоссе, и ей казалось, что эти расплывчатые, преступные тени неслышно скользят по пятам, чтобы прильнуть к ее шее и выпить из нее все желание. Особенно страшно было идти по полю, где совсем негде спрятаться, только слиться с землей,

как та женщина. Одна тень действительно неотступно следовала за ней, и, как ни спешила Тата, оскальзываясь в комьях земли, падая и пускаясь почти бегом, расстояние между нею и мужчиной все сокращалось. Страшнее всего, что он молчал, этот преследователь и соглядатай, и молча, молча, молча догонял ее. И вынести эту гонку стало невозможно.

И тогда Тата остановилась и пошла ему навстречу. Они сошлись, как два хулигана, делегированные своими бандами для вступительного единоборства. Вблизи лицо мужчины оказалось молодым, почти мальчишеским, оно качалось над ней и широко разевало рот в дикой ухмылке. Парень выдохнул облако перегара, протянул длинные руки и почти коснулся ее шеи. Тане было известно то, чего не знал парень. Его скисшая кровь створаживалась у нее на глазах. Год, от силы два оставалось болезни с ничего не объясняющим названием «гепатит С», чтобы превратить косого олуха и паразита в третьем поколении в мертвую труху. И что, вот этот полумертвец встал на пути урагана ее желания? О нет, она уж не та Моль, зарытая в удушливый ком забот и кропотливо грызущая шерстяную нитку жизни, чтобы вылезти в дырочку и незаметно полетать в шкафу, натываясь на фанерные стенки.

Тата вцепилась парню в руки, и пальцы провалились в вялые мышцы у локтевого сгиба. Пусть это случится сейчас, прямо тут, не сходя с места, и нечего тянуть два года. Напрягая волю так, что лопнул в глазу сосуд, она послала губительные лучи в мишень, разбитую на миллиарды клеток, и миллиарды

смертоносных вирусов принялись разить врага направо и налево, щелкая ядовитыми челюстями своих штаммов. Олух и паразит заорал и задергался, словно петрушка, кровь почернела и забила хлопьями печной сажки каждый его капилляр, все до единого. И он осел в железной хватке ведьмы по прозвищу Моль, навалившись на нее своим протухшим трупом.

И тут, словно горох, из серой мешковины предутреннего неба посыпался град. Он бил наотмашь, рвал перистое платье и кожу; Тата бросилась к лесу, но град небесный догнал ее и сокрушил. Ведьма упала, вжавшись в ничтожную глубину межи, вросла в землю и закрыла голову израненными руками.

Здесь и нашел ее утром Анатолий Монахов, следующий по холодку на станцию за газетами и прочими плодами цивилизации.

7

Каждое утро вот уж сколько лет Маня выходит к первой электричке — раньше всех выложить свой товар: редиску, зелень, молодую репку, смородину, свежую рыбу, а ближе к осени — яблоки, картошку, георгины. Мы, постоянные дачники, всегда стараемся застать Маню на базарчике: торгует она честно, дорого не просит, и продукт у ней всякий день отборный. Женщина Маня чистая, опрятная, разговор культурный, хотя водятся за ней странности. Например, разговаривает с кошками, причем на «вы». Увидит кошку и непременно с ней покланяется: «До-

брое утречко, тетенька, как спали? Что Васильевна? Не пишет вам? А вы обиду-то не держите, почта из Парижа долго идет». Потом Маня смертельно боится грозы, а если, не дай бог, падет град, с ней делается настоящий припадок. Забьется под одеяло, тихо плачет и цепляется за мужа, как маленькая.

Муж Мани, Коля-трубочник, жалеет ее. Говорят, раньше она сильно болела, он едва ее выходил; Маня поправилась, но с тех пор сделалась как бы слегка малахольная. Хотя, если честно, у нее и раньше мозги были изрядно набекрень. К слову-то сказать, она вовсе и не Маня. Каким ветром ее к Коле занесло — никто не знает: совсем как дурочка, без памяти и без всего. Практически нагишом, ни документов, ничего. Калика перехожая, перекати-поле. Как ни бился Коля — ты, мол, кто? А она: никто. Молю я, молю. Ну и стал он ее называть условно Маня. А после отогрелась, бедная, возле Коли — да и стала с ним. Типа жены. Коля говорит — Бог послал.

...Врешь ты все, Кассандра, чмо нераспечатанное. Совсем крыша съехала. Чем херню всякую пророчить, нашла бы себе мужичка при снастях. Дерануть тебя разок, мигом чердак-то прочистится. Все, кончай базар, пошла, пшшла, молю малахольная!

Так говорили они ей, и кидали камни в черную мачту спины.

А она кричала на рассвете: «Вижу, вижу, идут не-сметные рати, вижу курганы из павших, реки крови размыли крепостную стену и устремились в озеро Тенгиз, и стало оно из синего красным. Вижу, вар-

вары увозят ваших жен, перекинув поперек седла, и младенцы захлебнулись кровавым молоком, брошенные на корм собакам. Огонь пожрал наш город, храмы наши, сады и ристалища. Неужто не слышите вы в грохоте волн, разбивающих грудь о скалы, хора мертвых? Ваши глаза и внутренности расклеваны стервятниками; клетот вашей крови разрывает мне уши! Кровь, кровь вопит под копытами низкорослых лошадей и боевых верблюдов. Вы спрашиваете, отчего запели пески на тысячи караванных переходов вокруг? Это поет ваша кровь, неразумные, смешиваясь с песком, она стекает к огненному сердцу земли и закипает лавой. Оттого стеклянными голосами поют пески, плавясь на тысячи перегонов вокруг».

Смех был её ответом. Смех и скотские предложения. И летевшие ей в спину пригоршни мелких камней покрывали грязью и пылью ее одежду. Кассандра закрывала свое увядающее лицо черным покрывалом, чтобы не видеть лиц обреченных. Заливала уши воском, чтобы не слышать смеха одного из дядьев, чья сухая стать и длинное гнедое лицо зажигали огонь в ее бедрах, высекали искры преступного, кровосмесительного желания. Она бежала, путаясь в пыльном подоле, скрывалась в дальней бухте, где чайки откладывали яйца среди горячей прибрежной гальки, бросалась в зеленую воду, чтобы остудить биение огня в своем пыльном, затянутом паутиной кратере. Девственницей была Кассандра, старой сумасшедшей де-вой. И ее несчастный дар провидения никому на

фиг не был нужен, как и ее бледное, мосластое, замурованное тело.

Небо оставалось чистым, лишь прозрачное облачко пересекало горизонт, как перо чайки или след от самолета. И когда картины неисчислимых бедствий вконец истерзали ее слабый умишко и лишили сил, и бедная бездомная кликуша уснула на пустынном берегу, сраженная астеническим синдромом, — ее, спящую, взял, не видя в том греха, бродяга и разбойник, перекасти-поле, пригнанный ветром с далеких анатолийских гор.

И такая винная крепость и сладость была в его объятиях, столь слаженно пульсировала кровь в их жилах, так долго не покидал он ее, что устала Кассандра следить за сменой дня и ночи, засыпать и просыпаться, и забыла свой долг перед людьми и богами, и лишь один огонь видела во сне и наяву — закатное разбойничье солнце его глаз.

Когда же волны омыли их тела, и анатолийский разбойник унес Кассандру, схватив ее в охапку, ибо ноги ее подкашивались от счастья, Кассандра навек лишилась своего смертоносного дара и стала жить как простая женщина. Жить себе и жить. Чего и требовали от нее вмиг забытые земляки и сограждане.

Им же, здравомыслящим и в меру распутным, погоду теперь предсказывали ученые синоптики, войны — ученые политологи, а падение доллара и курс драхмы — ученые экономисты.

И все были довольны. Буквально все.

семь
криминальных
историй

КЛЕОПАТРА

Здравствуйте, мы сами нездешние, — пожалуйста, получите квартирку на Васильевском, трехкомнатную, Пал Палыч всего-то годика два поуродовался над расселением блокадников. Со связями еще по комсомолу сразу из университета пристроил Ларочку переводчиком во французское торгпредство, живи, любимая, красуйся! Что ты видела до тыща девятьсот девяностого года? Огород под Елабугой? А с Павлом — каждый год южные моря, Гоа-шмоа, Париж-Лондон-Амстердам, шмотки по каталогам... А тусовка? Артисты, художники, дипломаты, Нугзар Мухранели, князь, поэт, — с ума сходил, вены резал — из-за кого? Из-за тебя, чмо елабужское! Вот как Паша тебя прикинул — Николь Кидман отдыхает... Дура, блин, как жили! Сделал ведь ее, вылепил, вырубил, считай, из валуна, отсекая лишнее, как этот, Пигмалион, дурилка. Книжки читать заставлял, в филармонию водил, по театрам, по премьерам-презентациям, козел. И ведь знал все. Как в Москве, у его же подружки, Галки

рыжей, познакомилась с каким-то евреем и тут же. И жила у него все четыре дня. И Галке же еще и рассказывала: просыпается — кругом ромашки, вся постель усыпана, ну, поляна в лесу! Паша тогда слова не сказал, пошел с утра к метро, купил роз на сто баксов и завалил сучку с ног до головы, как покойницу. Поняла, блин, плакала, прощения просила. С Галкой тогда расплевались на несколько лет. А в Анталье инструктор по серфингу? А к мальчишке как сбегала, совсем пацан, лет семнадцать — о, вот история была, французское кино! К соседям по даче приехал, плечистый такой юниор с хвостиком на затылке. Купаться ее возил на велосипеде в семь утра — это Ларку-то, для нее вообще утро не существует как понятие и явление природы! В мореходку, альбатрос, поступал, по зрению не взяли. Но тут все, что надо, увидел. И прямо с дачи, из Комарова, рванула к нему на Обводный, шалава. А там родители, бабушка — святое семейство. Но любовь же, едрена мать! Нашла моментально комнату, как горело у нее, паренек в чем был свинтил из дома — а ведь не работает, ничего, кругом по нулям, целый месяц его кормила-поила, в конторе у себя отпуск взяла, чтоб Паша не сцапал. А Пашка тогда чуть не рехнулся — ходил по городу, как псих, искал. И что же? Нашел! Идет раз по Петроградской поздно вечером — ба-бах! Будто на столб налетел, аж отбросило: окно на первом, заплесневелом от сырости этаже скудно светится, а в окне — Ларка. Стоит в ночной рубашке и смотрит на улицу грустно-грустно, как Та-

тьяна Ларина. Паша подошел к решетке вплотную, лицо к прутьям прижал, как на картине Ярошенко «Всюду жизнь», она губами прикоснулась к стеклу, подышала. И написала пальцем по запотевшему: «ТЕВИРП». Ну, то есть, конечно, «привет». Привет, привет, мадам Бовари. Постоял — да и пошел. А наутро вернулась. Как ни в чем не бывало.

Что уж в ней все находили такого рокового? Глаза блеклые, близорукие за большими очками. Носик тупенький, обрубленный покороче, пожалуй, чем нужно. Губы бледные, припухшие совсем по-детски. Ноги, правда, от зубов. И роскошные платиновые волосы — это да, косы по колено. Широкие плечи, грудь торчком с плоскими розовыми сосками. Но ведь западали-то еще до всяких сосков! Павел и сам еще на вступительных, не малец же вам прыщавый, член приемной комиссии! Как увидал эту абитуриентку с большими коленями, так и поплыл. И ответа ее на тему экономического значения работы Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин» не слышал, только смотрел на вспухшие, словно зацелованные губы, и во рту пересохло от дикого желания их коснуться... Коснулся. В этом как раз ничего сенсационного не было. А вот оторваться уж не смог.

С юной женой нужны были деньги. Так с полным основанием полагал не чуждый здорового карьеризма молодой доцент, воспитанный экономической теорией и практикой в лице мамы, в прошлом директора валютного магазина «Березка», а впоследствии, когда валюта вошла в обиход и перестала как

таковая возбуждать органы и коммерсантов, создавшей крупнейший питерский секонд-хенд. Тут, кстати, и кафедру, уму, подобно России, неподвластной политэкономии социализма разогнали, и Павел, своевременно вступивший в пору мужского расцвета, легко вписался в новую эпоху, а именно в рекламный бизнес.

Но как раз Ларочке-то это было все равно. Мужчины ее интересовали исключительно как особи принципиально иной конструкции, с которой ее женский механизм так ловко и занятно взаимодействует. Никто бы не назвал ее дурой, просто она являла собой, так сказать, примат женщины. Ну и чем плохо? Только тем, что Павел этого не понимал и считал жену шалавой, сучкой и, если честно, законченной шлюхой. А в противовес и доказательство собственного неоценимого значения в ее жизни доставал милую своими демонстративными завоеваниями на финансовом поприще, которыми гордился, будто победами Александра Македонского, в то время как ей они были, строго говоря, до фонаря.

Впрочем, Лара добросовестно пыталась начать новую жизнь и соответствовать положению честной женщины. Но однажды на даче в Комарово, где бригада таджиков вела обширные ремонтные работы, тоска вдруг одолела ее до полной потери здравого смысла и ориентации в прокрустовом, оно же супружеское, ложе. Короче, Лара залепила ни с того ни с сего такое сообщение ТАСС, что хоть стой, хоть падай и отжимайся. Паша как раз токовал, разворачивая блистательные перспективы подкорковой

рекламы, каковые, по его подсчетам, должны перевести их в качественно другой общественный слой, откуда рукой подать до касты олигархов, где, кстати, уже вовсю шакалил Стас Киловацкий, его однокашник, бывший фарцовщик и вместе с тем активист, в прошлом тоже (кто бы сомневался!) неоднократно и результативно склонявший Ларку к разнообразным молодежным актам солидарности и протеста.

— Ну ладно, Паша, — Лара стукнула чашкой по блюдцу, расплескав остывший чай. — Пошла я.

— Куда? Неужели тебе неинтересно?

— Что ж здесь интересного, сам подумай. Я совсем ухожу, въезжаешь? От тебя.

— К кому на этот раз? — Павел откинулся в плетеном кресле и выпустил дым аккуратными колечками.

— Да хоть к нему, — Лара кивнула куда-то в глубину сада, где бригадир таджиков со страшной скоростью рыл дренажную канаву в рыхлой песчаной почве, куда лопата легко входит на полный штык.

— Лар, ну что, ей-богу, за шутки идиотские...

— Дарик!

— Я! — по-военному отозвался тридцатилетний поджарый Дарик, он же Абдаррахмон, отец пятерых дочерей и новорожденного сына.

— Возьмешь меня замуж, Дарик?

— Я женат, тетя Лариса, — захохотал Абдаррахмон, сверкнув зубами на гнедой роже.

— А второй женой?

Дарик-Абдаррахмон залился пуще:

— Это можно. Если дядя Паша отпустит.

— Отпущу, — сказал без улыбки «дядя Паша». — Вот сегодня же и вали. И ночуй с ними в бане, поняла? Но возвращаться не смей.

Абдарррахмон переводил испуганный жаркий взгляд с хозяина на хозяйку.

— Зачем шутишь так, дядя Паша?

— Работай иди, Дарик. Ребятам скажи, пусть там угол для вас оборудуют. Со второй женой. Давай-давай, чего стал!

А Лара фыркнула по-кошачьи, сдернула с перил полотенце и размашистым аллюром, в купальнике и прозрачном розовом парео на бедрах, поскакала к заливу.

Навалявшись в горячей тишине за дюнами, в густом смолистом дурмане, она легко выкинула из головы утренний вздор и, расслабленная, вернулась на дачу. Дом был заперт. На крыльце сидел многодетный Дарик и хищно щурился.

— А Паша где? Ключи у тебя?

— Зачем ключи, Лара-ханум? Твой дом теперь вон, — Абдаррахмон большим пальцем показал себе за спину, на бревенчатый сруб бани. — И ты, прошу, не ходи голый, ребят стыдно. На вот, дядя Паша передал, прикройся. — Дарик кинул ей синюю льняную юбку на разноцветных пуговках и клетчатую рубашку. — И волос покрой.

Лара бросила тряпки на крыльцо и удивленно рассмеялась.

— Ты с кем разговариваешь, козел вонючий? Живо у меня вылетите к чертовой матери, чурки беспаспортные! А ну, ключи принес, идиот!

Дочерна загорелое Абдаррахмоново лицо стало пепельным, тонкие ноздри раздулись, как у коня. Легко вскочив, он больно сжал голые хозяйкины плечи и обдал лицо неожиданно чистым дыханием здорового некурящего мужчины.

— Не надо делай мой сердитый, Лара-ханум. — Дарик заговорил вдруг с чудовищным акцентом, надо полагать, от гнева. — На кухню иди, вари, Иса показывай!

Он сорвал с длинных бедер второй жены парео и накинул на ее пустую голову.

— Ну погоди, черножопый, — Лариса быстро зашагала к калитке, но дорогу ей преградили два мужика, чьих имен она не знала и плохо различала, высокие, жилистые, с прекрасными одинаковыми глазами и лицами. Несомненно, родственники. Все они тут родня. Понаехали, говно, без регистрации, совсем обнаглели, как в ауле... Прикройся, на кухню... Устрою я вам кухню, товарищи дехкане. А ты, Пашенька, ох ты и умоешься, сволочь...

— Иди, пожалста, там, хозяйка, — с застенчивой улыбкой сказал старший из красавцев. — Хозяин приказывай, с нами живешь. Не обижайся.

За весь вечер Лариса так и не сумела пробраться к калитке незамеченной. Мобильник остался в доме. Белая ночь опутала сад светлой мглой без теней, Лара вышла из бани, пропахшей потом и сырыми одеялами, села на скамью под жасмином, закурила. Дарик встал, как лист перед травой, отобрал сигарету, растоптал черной босой пяткой.

— Моя женщина нельзя папиросы. Спать надо. Рано вставай.

Ночи стояли теплые, свежие, почти без комаров. Мужики вытащили одеяла в сад, и вскоре в стрекот кузнечиков влился храп уставших работников.

Лариса никогда не боролась ни за мужчин, ни против них. Борьба как жанр, собственно говоря, была ей неведома. Наталкиваясь изредка на мелкие неполадки в ровном течении жизненного потока, она беспечно их пережидала, лежа на спине, и плыла дальше, легким, неторопливым, красивым брасом. Не сопротивлялась и когда Абдаррахмон повел ее за руку на свое лежбище. Как начальнику ему принадлежал нижний широкий полок с поролоновым матрасом и простыней. Он вымылся в душе и велел помыться «жене». Ларису поразило, что лобок у него гладкий, бритый, как и у нее. Он долго и причудливо ласкал ее, шепча на незнакомом языке, как ей показалось, в рифму. «Что ты говоришь?» — спросила под утро. «Ты красивый, как роза, мягкий, как барашек... Будешь любимый жена...» — Дарик уснул.

Лариса осторожно вынула у него из пиджака ключи от калитки, накинула рубашку, юбку и выбралась из бани. Сад сиял рассветной росой, птицы еще не проснулись. Прокралась мимо спящих таджиков к будочке уборной за кустами сирени. Тихонько пописала и выглянула. У калитки на корточках, словно у арыка, сидел чумазый мальчишка Иса, который учил вчера заправлять рис шафраном, и пялился на нее веселыми глупыми глазами.

Сбежала она в тот же день. Приехала машина с навозом, и Дарик увлеченно митинговал с шофером о цене. Мужики торчали кто на крыше, кто в подвале, кто бетонировал отмостку за домом, кто сеял газон, будучи по природе аграрием. Иса хватился хозяйки, когда пора было резать баранину. Бригадир потом крепко побил его и даже сломал ребро.

В электричке Лара попала в засаду контролеров. Денег не было, и под конвоем двух бесполох, условно говоря, баб она послушно побрела в отделение.

— И документов, стало быть, нету? — почему-то обрадовался дежурный старшина. — А личность твою кто подтвердит? Почем я знаю, может, ты по поездкам орудуешь?

— Думайте, что говорите, — Лариса спокойно посмотрела поверх очков, отчего милиционер смутился. Звонить мужу, объясняться было противно и лень. Пришла мстительная мысль заложить таджиков: «Пусть, скотина, ценою жизни купит ночь мою». Она усмехнулась.

— Я бы на вашем месте не веселился, гражданочка. В обезьяннике посидишь, живо мозги на место встанут.

Но тут царственные капризы моментально были вытеснены из легкой Ларисиной головенки идеей поистине блистательной.

— Товарищ... э... офицер... А вы позвоните Киловацкому.

— Какому еще Киловацкому?

— У нас один Станислав Киловацкий. Ну там нефть, газ, то-се.

— А, этот... что всех раком поставил?

— Ну, допустим.

— И что дальше?

— Вот вы ему и позвоните. Он вам удостоверит мою личность.

Ларка, что уж греха таить, по старой памяти пошаливала с будущим магнатом на стадии его дебютных афер. Конечно, взорлил он с тех пор, куда обывателю, говоря поэтически, ссать-недоссать, и телефоны, небось, сменились на кодовые спецвертушки... Старшине Парамонову, было, конечно, легче отпустить девку, чем затеваться со всем этим геморроем. Но забытого чинами участкового чем-то уж больно раздражала непонятная цыпка. Очками, что ли, сонным взглядом, чистой шеей, педикюром... Погрозив кривым пальцем, рявкнул в трубку: «Белобородов? Парамонов на связи». И быстро что-то пробурчал насчет Большого дома. Потом выглянул в коридор, крикнул: «Лизавета! Пару чая с лимоном и булку!» Лысоватая Лизавета приволокла стаканы в военных подстаканниках, бутерброды с вогнутым сыром на бумажных тарелочках. А еще минут через пятнадцать влетела и, страшно пуча глаза, прохрипела: «Вас... Из Смольного...»

...Черный «мерс» с мигалкой подрулил к стационарному пункту охраны порядка; молодой мужчина с короткими бачками, в сером костюме, поднялся на крыльцо, а затем спустился, бережно поддерживая под локоть девицу в очках и мятой рубашке, в потертых босоножках, в ореоле дивных растрепанных волос. Спустя час с небольшим девица, а пожалуй

что и дама, переданная другому точно такому же дяденьке, поднималась на борт небольшого спортивного самолета где-то возле эстонской границы.

Пашу Лариса больше никогда не видела, развели их заочно, аккуратнейшим образом. Свадьбу Киловацкий тоже обставил скромно, в загородной резиденции, в ближнем кругу, включая президента. Три дня на Мальдивах охранники не сводили с хозяйки глаз. Когда заплыла слишком далеко, из-за скал появился белоснежный катер с маленьким российским флажком, и обветренный, точно как эти скалы, капитан козырнул: «Лариса Ивановна, попрошу на борт!»

Лару гоняли по корту, пытали на тренажерах, ломали на массажных столах. Она сильно похудела, стала настоящей красавицей с печатью драмы на нежном лице.

На одной из премьер, которые просвещенный олигарх нередко посещал, встретилась давнишняя Галка рыжая. Лара обрадовалась, стала знакомить с мужем. Киловацкий кивнул и быстро отошел. Лариса сунула Галке номер сотового, но та сказала с улыбкой: «Я звонить не буду. Захочешь, позвони сама». «Почему?» — искренне удивилась Лара. «Ну подумай. Подумай, детка». Тут подошел один из коренастых типов с неподвижным лицом, которых она плохо отличала друг от друга, и прорычал: «Пойдемте, Лариса, ждут». И, полуобернувшись к Галке, подставил ладонь: «Давайте, что там у вас». Рыжая, скомкав бумажку с телефоном, бросила ему под ноги.

Среди многих объектов, принадлежащих лично магнату и его *структурам*, был охотничий домик

в Карелии. Строила его интернациональная бригада: похмельные финны, жуликоватые хорваты, проворные турки и непременные таджики. Принимать объект Киловацкий в целях релаксации поехал лично, прихватив жену.

Абдаррахмон Ларису не узнал. Зато она признала его сразу. Если честно, в пресных и каких-то парфюмерных олигархических объятиях Лара нет-нет да и вспоминала бритый мусульманский лобок и не-тривиальный петтинг. «Меж вами... ценою жизни... ночь мою...»

Улучив момент, сказала не поворачивая головы:
— Плыви на остров, там жди.

Как уж топтуны ее упустили, непонятно. И вновь рвалась марлей белая ночь, морок без теней, и вода стояла тихим молоком. «Как роза?» — спросила перед рассветом. «Как гранат», — уточнил Дарик, отец восьмерых детей. Абдаррахмон был счастлив: у него стали родиться мальчики, один за другим, три богатыря.

Незаметно, как ей казалось, Лара пробралась к себе.

Абдаррахмон стоял на берегу озера и радостно жмурился на восходящее солнце, когда его неслышно и точно стукнули рукояткой «макара» по черепу, засунули в джип, увезли в лес и там умело, как барашка, полоснули по горлу — от уха до уха. И зарыли в рыхлую песчаную почву, куда так легко на полный штык входит лопата.

МАЖОР

Ну и как, скажите на милость, не потирать ручонки и едва не повизгивать от предвкушения чудненькой забавы — долгожданного реванша над этим козлом, он же волчина позорный, — а тогда еще волчонок, щенок — ути-пути, какие мы были породистые, клубный мальчик-доберманчик, весь поджарый, весь такой моднявый и вообще весь из себя. Папаша Левинсон, директор ансамбля песни и пляски «Калинка», с гастролей шмотки привозил, а этот красавец фарцевал в сортире. И никто не стукнул ни разу, вот ведь народ! А больше выгонять и не за что было. Учился, падла, хорошо и отлично. Интересно, почему евреи умные? А? Не все, конечно, но закономерность прослеживается. Процентом на семьдесят.

Да не умные! — осенило тут следователя районной прокуратуры Плошко Тамару Васильевну. Хитрые, сволочи, хитрожопые, это да. А умный тот, кто вдаль смотрит, ждет своего часа — и раз! — нападает неожиданно и внезапно, без бреха, в отличие от

идиоток-пустолаек. И в горло. И вершит расправу с той стороны, откуда вражина вообще не ждет.

Отчего же следователь и майор органов внутренних дел Плошко Тамара питает такую, судя по всему, застарелую и личную неприязнь к Леониду Левинсону, подозреваемому (а в сущности, обвиняемому) в растлении несовершеннолетних? Это вопрос деликатный, и сама Тамара Васильевна изобретает различные причины классово-идеологического, в том числе имущественного, характера, не исключая и национальный аспект... Но, будем откровенны, все это чистая фигня и демагогия. Муж Тамары, полковник Гуревич, знатный гайшник, хотя и не так уж ею горячо любим, но ведь терпит же она его больше двадцати лет, если считать добрачный период сексуально-половой связи. И прижила с ним двоих пареньков, вполне прикинутых ребятишек, старший из которых обитает в настоящее время в школе бизнес-на, штат Орегон, обучаясь на юрисконсультанта. Пристроен и младший — в дорогую гимназию с монархическим уклоном. Так что не такой уж Тамара Васильевна негибимый и железобетонный Феликс по части национал-патриотизма, а также чистых рук и прочих реквизитов знаменитой ментовской чести. Я бы сто раз подумала, прежде чем назвать ее неподкупной. Ах, друзья, коллеги, юридические и физические лица! Сожалею, но это — не самое сильное место майора.

Сильное же место Тамары Васильевны располагается далеко не в коренастой ее голове и, уж конечно, не в мстительном сердце. И даже не в руках,

пухлых, и когтистых, и загребущих на зависть. А рас-
полагается оно... прямо даже не знаю, как сказать
помягче, избежав циничных кривотолков...

В общем, говоря коротко и образно. Учась на юри-
дическом факультете МГУ (вместе с ныне подследст-
венным, а в прошлом отличником учебы, шахматис-
том и фарцовщиком плюс великолепным красавцем
Леней Левинсоном), Тамара Плошко, бессменный
член факультетского бюро ВЛКСМ, славилась в сту-
денческих кругах... Нет, не могу. Пообещайте, что
следующую зловонную строчку вы закроете каким-
нибудь ландышем серебристым. В общем, популяр-
ная барышня была известна всему юрфаку как
(прости, Господи!) «комсомольская давалка». Вот.
Как ни крути, но сказать об этом надо, ибо многое
объясняет.

Студентка Плошко, будучи лишена последних
женских аргументов, как-то: глаза, ноги, кожа, воло-
сы, — каковые являются компенсацией общего эсте-
тического упадка, — сама себе нравилась чрезвычай-
но. Корявенькое существо, пучеглазое, но практиче-
ски без ресниц, гордо печатало шаг по коридорам
и улицам и шибко драло толстый утиный нос. Нерви-
ровали только прыщи, но из специальной литерату-
ры она узнала, как от них избавиться. К своей дебют-
ной жертве Плошка подползла на сеновале в колхозе,
на так называемой картошке. В темноте избранник
не разобрал, что к чему, а с первыми, как говорится,
лучами солнца в ужасе бежал.

Чаще всего она брала мальчиков тепленькими
после активных студенческих пирушек, куда ее,

признаться, не приглашали. Являлась незваной, вызнав адреса и явки окольными путями. Не гнать же человека. Тем более не являлось секретом, что и своим крошечным, как у судака, ротиком она тоже работает с большой самоотдачей, что отчасти повышало ее рейтинг.

Дошла очередь и до звезды первой величины. Левинсона Тамара побаивалась. В отличие от прочих, с которыми Плошка лишь утоляла зов жадного либидо, Леня ей нравился. Ну, то есть настолько, насколько этой росянке мог кто-то нравиться по-человечески.

Ох, как уж она мела хвостом, едва завидев свою любовь! Незамечаемая, кралась по пятам, чтобы сесть рядом в аудитории или в метро. Провожала до дому — сначала плетясь сзади шагах в десяти, постепенно же сокращая дистанцию, и, в конце концов, обмирая от собственной бравости, ухватила долговязого неотразимчика под руку — на уровне своего плеча.

— Слушай, Плошка, — вырвал тогда Левинсон локоть. — Ну что ты за мной таскаешься? Тебе что, других кобелей мало?

И Плошка, подняв полные слез глазки, шепнула: — Я люблю тебя, Леня.

— Ой нет, — попятился Левинсон. — Только не это. И побежал прочь, легко перепрыгивая через лужи.

И вот, тридцать лет спустя, на блистательном пике климакса, в кромешной тоске сожителства с Гуревичем (безусловным представителем двадцати процентов ослепительного еврейского идиотизма)

Тамара Васильевна Плошко получила своего смертельного оскорбителя на блюдечке с голубой каемочкой.

Леонид Ефимович Левинсон, профессор права, член Московской коллегии адвокатов и, что называется, *мажор*, был слишком уж красив и богат, чтоб не позволять себе скромные грешки. И слишком умен, чтобы скрывать их все, ибо безупречность такого мужчины подозрительна. Жена на все смотрела сквозь пальцы, дочь папу боготворила: практически счастливая семья. Осмелюсь, однако, предположить, что граф в свое время погорячился, пренебрежительно указав на *одинаковое* счастье счастливых семей. Профессор не просто погуливал налево. К сожалению, его превосходительство брал-таки под покровительство молоденьких девиц — что, несомненно, придавало семейному счастью тревожную эксклюзивность, несколько чересчур пикантную остроту. Обычно девочки довольствовались малым: Канары, цацки, шуба. Ну, съемное гнездо на Пречистенке. Однако нашлась поганка, которая выкатила совершенно дикое требование: жениться. И это бы еще полбеды. Но поганке не исполнилось восемнадцати!

И в один прекрасный день Леонида Ефимовича вызвали в прокуратуру. Так что, сами видите, история простая и пошлая, как баковское изделие.

Фамилия следователя на повестке и далее на двери кабинета ничего Левинсону не сказала, ни о чем не напомнила. Бесследно уплыла из памяти униженная и оскорбленная серая утица.

Постучался.

— Подождите! — властно из-за двери.

Постучался и заглянул через пятнадцать минут. Тетка в майорских погонах и грубом парике подняла от бумаг тяжелые щеки:

— Кажется, ясно сказано: ждите. Приглашу.

— Но время назначено, у меня дела...

Как могла, майор растянула микроскопический ротик.

— Дело у вас сейчас одно. Но если уж вы так спешите (легкий отвратительный всхрюк)... прошу, будем его срочненько заводить.

Часа три мытарила адвоката следачка. Выспрашивала, сука, подробности, тыча в клавиатуру компьютера два неуклюжих пальчика. Называла статью, которая ему *светит* (титулованный правовед уж как-нибудь был в курсе). Пугала, как расправляются в лагере с насильниками, а пуще с растлителями (слыхал профессор и об этом). Рисовала чудовищные перспективы позора и изгнания из *общества*.

— А как вы себе представляете общество? — спросил вдруг подозреваемый с ласковой улыбкой.

И Плошка, не будь дура, отвечала истинно по-королевски:

— Общество-то? Ну, допустим, я.

— Простите, как прикажете в этой связи вас называть: «гражданин следователь» или «гражданка следователь»?

Майор выдержала сильную паузу.

— Ты, Ленечка, можешь звать меня Плошкой.

Левинсон поперхнулся. Он внимательно, даже надев очки, взгляделся в довольно гадкую рожу под слоем всяческой бестолковой штукатурки. Что-то мелькнуло из далекой юности, какая-то постыдная сценка, но в чем или, вернее, в ком заключалась ее постыдность, вспомнить не мог.

— Не узнаёшь... — с какой-то зловещей грустью посетовала Тамара Васильевна. — А ведь мы были довольно близки.

— То есть? — содрогнулся подозреваемый. — В каком смысле?

— Напомнить? — В голосе и рачьих глазках следователя громыхнула и одновременно сверкнула угроза. — «Комсомольская давалка», так вы меня звали. Ну?

Леонид Ефимович зажмурился. Он вспомнил. Можно сказать, прозрел. И мгновенно прокрутил в своей умной голове всю партию. Он знал женщин, еще как знал. И понял, что на этот раз ему не вырвать локоть из лап гадины, не убежать на длинных ногах, перепрыгивая через майские лужи. Отвергнутый крокодил тридцать лет расковыривал рану, ждал свою непрощенную добычу — и дождался. Не выпустит.

Суд, невыносимые глаза жены, горе дочки, презрение (или снисхождение, что одно и то же) — не «общества», дура ты ненасытная, но сотни-другой людей, что образуют его необходимую питательную среду... Конец карьеры, конец такой любимой, отлаженной, смазанной жизни, летящей по гладкому шоссе примерно новорижского направления... Ко-

нец. Даже без приговора. Он знал, как защищаться, блестяще провел десятки подобных дел — девки-провокаторы бесчинствовали у нас почище всякой политкорректной Америки. Ну а если все-таки... Вероятность ничтожна, но не исключается. И тогда — конец физический. Лагеря, да еще с такой статьей, — не выдержать.

Все это Левинсон просчитал за пару мгновений, пока Плошка успела чисто физиологически насладиться эффектом. Жар прилива обдал ее, как ветер египетской пустыни, где она побывала в прошлом году (слава богу, без Гуревича), смертельно заскучав от вида дурацких пирамид. Как и тогда, Тамара Васильевна, побагровев, сильно вспотела.

— А знаешь, Леня, — мечтательно проскрипела подруга юности, — есть у меня один висяк... Разбойное нападение с убийством. Может, нам и его тебе пришить? Семь бед — один ответ.

— Это вряд ли, — криво улыбнулся адвокат. — И имей в виду. Я тебе не по зубам. Строго говоря, ты даже не имеешь права вести мое дело. Личные мотивы, Тома.

— Докажи.

— Не смейся. Двух свидетелей за глаза хватит. А будешь рыпаться — раздавят тебя, солнышко, как вошь.

И уточнил:

— Как мандавошку.

— Ах, Ленечка, мандавошка — тварь живучая. Мне ли не знать?

Опасная, опасная мразь... И неглупая. Тварюга...

— Ладно, Левинсон. На сегодня хватит. Прочтите, подпишите здесь и здесь: «с моих слов записано верно». И подписочку о невыезде, будьте так любезны.

Выйдя на бульвар, Леонид Ефимович обнаружил полное моральное и физическое истощение. Опустился на скамейку, пожалел, что бросил курить. Подошли две макаки: молодой человек, не найдется сигареточки?

— Давно в обезьяннике не сидели?

Девок сдуло.

Мысленно прогнав поименно всю записную книжку, Левинсон остановился на одном человеке, кто годился сейчас в любом качестве: друга, консультанта, собутыльника, доверенного лица.

Как и ожидал, Ада, ни о чем не спрашивая, распорядилась: «Через сорок минут, “Узбекистан”, на паритете не настаиваю».

Золото, чистое золото. Левинсон до сих пор не понимал, почему они расстались. Видимо, слишком умная оказалась. Умные, а особенно остроумные женщины вселяли в Леню тревогу — как некая аномалия. Специальностью Ады была «гражданка» — не экстремальные уголовные, а обыденные гражданские дела. Но тем тоньше разбиралась она в психологии повсеместно уродливых отношений, тем искушеннее и мудрее смотрела на вещи.

Леня с нежностью наблюдал, как бывшая жена поедает фруктовый плов. Ада обладала счастливой особенностью делать все с аппетитом, с детским самозабвением.

— Ну, Лешка, ты влип! — она радостно сверкнула идеальными зубами. — Эта гнида тебя замочит. Помолчи. Прекрасно я знаю твоих «генералов». Что, со всем этим говнищем ломанешься по карельской березе?

Карельской березой демократичная Ада называла все, к чему питала стойкую классовую брезгливость: департаменты, министерства, Кремль.

— Не ходи никуда, Варенуха. И не звони. Очень правильно сказано: хуже будет. Советую с барышней договориться. Зуб даю, эта твоя Миска...

— Плошка.

— Прекрасно. Она влюблена в тебя по сей день.

— Ты рехнулась.

— Лека... — Ада позволила себе грустный вздох. — Ты не из тех мужчин, кого забывают...

— Вот она меня и не забыла, блядина!

Длиннобровый официант, вздрогнув, пролил коньяк на скатерть. Ада виновато ему улыбнулась.

— Короче. Если тебя интересует мое мнение: никакого сора из избы. Что знают двое — знает свинья. Вас уже и так двое, да плюс девка, да ее родня, и все, как один, свиньи. Включая тебя. Так что идешь к этой своей Ми... Плошке и тихо-мирно да-га-ва-риваешься. Деньги на бочку, и все такое. Дело надо закрыть. Амбиции и прочую фанаберию — в задницу.

— Ну не знаю... — Левинсон задумчиво глотнул коньяк, сморщился. — Есть же, в конце концов, гордость...

Ада весело рассмеялась, сунула ему в рот маслину:

— А чем тебе особенно гордиться-то?

Тамара Васильевна на стук не откликнулась, а когда Левинсон просунул в дверь голову, обратила на него лукавые глазки и неожиданно сказала:

— Ку-ку.

Крокодил кокетничал! Мама дорогая, крокодил принарядился в цивильное: новый блондинистый паричок, бусы из фальшивого горного хрусталя, серебристая декольтированная кофта с черной розой — эмблемой печали на груди. Дальше — стол. На столе — сигареты с ментолом.

— Угощайся.

— Не курю.

— А я вот закурила на старости лет.

Что-то шло не так. Леонид Ефимович не вполне понимал игру следователя — на этот раз «доброго», но с какой целью? Не признание же из него тянула, на черта оно ей нужно, его признание. А Плошка между тем открыла сейф, вынула бутылку недорогого «Red label».

— Выпьешь?

Плеснула на четверть в два конторских стакана, подняла свой:

— Ну, не чокаясь — за погибшую любовь!

— Тома, ты прости, но если у тебя есть вопросы, то давай.

— Конечно, ну конечно. У меня полно вопросов, господин адвокат. Вот, например, такой вопросик...

Господи помилуй, да она пьяная!

— Что вы предпочитаете: провести со мной бесподобную ночь или париться на зоне?

Левинсон хлопнул дверью и на следующий вызов не явился.

Плошка позвонила на мобильный:

— Советую реагировать на повестки, Левинсон. Или хотите прибыть под конвоем?

После очередного «допроса» Тамара попросила подвезти ее домой.

— Зайдем?

«А, черт с тобой, жаба, — подумал Левинсон. — Не расстрел же, в конце-то концов».

Ах, Леонид Ефимыч, лучше б тебя расстреляли! Хоть быстро, раз — и отмучился.

Плошка велела ее раздеть. Потом долго, мокро взасос целовала. Потом пихнула на кровать и принялась топить в своем целлюлите. Она пытела, стонала, кричала, то залезала на окостеневшего, как в зубоврачебном кресле, профессора верхом, то сползала к его паху... О, пакость... Никогда не думал мажор Левинсон, что простой человеческий коитус может быть такой истинно лубянской пыткой.

Прислушиваясь к Плошкиному храпу, Леонид Ефимович стал осторожно выбираться из жутких объятий. Но Тамара крепко сжала его сморщенную плоть и сонно пробормотала: «До утра, зайка, до утра...»

Месяц «растлителя» никто не беспокоил. Леонид Ефимович ожил, встряхнулся, расправил плечи, стал ненароком опять постреливать по сторонам...

Звонок из прокуратуры грянул, как залп «Авроры». «Зайди, — сказала Плошка без увертюры. — Есть разговорчик».

Вот ей-богу, она честно хотела закрыть дельце за неимением. Уже и докладную подготовила. Но тут,

понимаете ли, возник один хмырь... У нашей курочки, в смысле, у потерпевшей, серьезненькие связи. В общем, майора вызвал генерал. Приказ — следствие продолжить. Майор готова, в свою очередь, запустить кой-какие собственные рычажки и механизмы, готова побороться... Но Ленечка же понимает, это очень и очень, о-хо-хо, сложненько, рискованненько... Крокодил сладко чмокнул.

И вместо гладкой трассы потянулись перед мажором глухие окольные тропы. Не проходило недели, чтоб не вызывала его на ковер (часто буквально, непосредственно в кабинете) следователь. Леонид Ефимович осунулся, потерял аппетит, приобрел привычку затравленно озираться. Жена водила его по врачам, светила советовали отдых и смену обстановки. Профессор уехал в Грецию. В первый же вечер в дверь его люкса игриво постучались: та, та-та, та-та. Ну, дальше вы догадываетесь.

Их стали видеть вместе. «Питательная среда» готова была простить всех малолеток Москвы и области, — и даже одобрила бы такое гусарство — но не бабу-мента. Жена стала спать отдельно и вставала, опухшая от слез. Дочка ушла жить к мальчику.

Едва ли не самый модный и успешный адвокат столицы проваливал одно дело за другим. Клиентура стремительно таяла.

Все еще красивый, но неуклонно разрушающийся господин топчется на углу у Почтамта. Ему дважды предложили выпить вконец разрушенные личности, безошибочно признав в нем своего. Верная Ада опоздала на полчаса. «О, господи,

Лека... До чего ж ты жалкий, бедный мой! Куришь... — погладила по щеке: — Ты б хоть побрился, милый. Чем тебе помочь? Ну, хочешь, зайдем тут недалеко, пивка выпьем? А? Ну смотри. Знаешь, давай встретимся — вот хоть в понедельник, посидим нормально, перетрем... У меня сейчас клиент, прости ради бога, я позвоню!» Коснулась его губ душистой щекой и унеслась, паруся легким шикарным пальто.

Скорбным, темным, промозглым октябрьским утром Леонид Ефимович, проснувшись, нашел на столе записку: «Сил моих больше нет, Леня, за вещами приеду позже».

И приехала. Вышла из лифта, как из самой ночи, с мокрой кудрявой головой, с плаща лило, словно с андерсеновской принцессы. «Вот... — жена подняла к нему залитое дождем родное лицо. — Не могу так... Давай попробуем сначала...» И в этот миг последней надежды из спальни, шаркая большими коленкоровыми тапками, выполз крокодил в стеганом халате, сонно зевнул и сказал: «Ух ты, ну и дожжычек! Простудишься, зайка, иди в постельку...»

...Заведующая отделением больницы имени купца Алексеева, известной как Кащенко, Фаина Яковлевна Фикс, усталая, но довольная, возвращалась с дежурства. Прекрасный больничный парк сверкал под свежим снегом, Фаина Яковлевна получила штуку баксов за госпитализацию симпатичного мальчонки, косящего от армии, и с завтрашнего дня уходила в отпуск — из зимы в лето.

На лавочке возле корпуса сидел старик. Для прогулки больных было слишком рано — только что кончился обход. Для посетителя — тем более. Бдительная Фаина Яковлевна, важно семеня, подошла и прямо спросила: «Вам что здесь, товарищ?»

Старик в какой-то тлетворной беретке и не по годам залихватском клетчатом пальтеце поднял голову. Фаина Яковлевна, обладавшая феноменальной зрительной памятью, ахнула.

— Леонид Ефимыч! Откуда... Зачем вы здесь? В такое время?

— Самое время, Фаина Яковлевна, — дернул щекой адвокат, когда-то вытащивший еще молодого и неопытного доктора из скверной истории с взятками. — Я очень, очень болен... Фаина, сжался надо мною!

Левинсон закрыл лицо руками в женских шерстяных перчатках и разрыдался.

Летом и зимой Леонида Ефимовича отпускают домой. Тихо и терпеливо он отсиживается на своей половине дачи, пережидая ремиссию. Квартира и вторая половина дома после развода остались у жены с дочкой. Иногда к нему пускают внука. Они играют в шахматы, дед все чаще проигрывает. «Да ну, — смеется чудо-ребенок, — с тобой неинтересно!» Плошка сгинула, как ночной кошмар. Примерно в августе она начинает являться ему во снах в виде огромного крокодила, старается перекусить несчастного пополам. Старик кричит и просыпается. Это первый сигнал подступающего обострения. В начале сентября зять

Алла Боссарт

отвозит его в клинику. Фаина ушла на пенсию, но Леонида Ефимовича в отделении уже знают и любят. Повторно он ложится в марте — до июня. Денег с мажора не берут.

ПОДЗАБОРНИЦА

Чтоб было не так страшно, шепотом как бы пела: «Паша, солнце, я тебя люблю, замуж не пойду, трам-пам-пам, ля-ля-ля, погулять хочу...» Шла очень быстро, почти бежала и задыхалась от этой спортивной ходьбы и сопутствующего страха.

Санитарка сутки через трое с девяти до девяти. Часто прихватывала и весь следующий день до нуля часов, другими словами — до двенадцати ночи. Как Золушка, за сверхурочные. Вообще-то в этих случаях Тоня не ездила последней электричкой, спала в больнице до утра и не спеша шла на прямой автобус до Серпикова, прямо от метро, два часа от дома до дома, очень удобно.

В Серпикове, само собой, работы никакой не было, половина персонала среднего и особенно младшего звена (сестры и нянечки) жили под Москвой в различных пунктах вдоль Каширского, в основном, шоссе, но и по другим направлениям. Одной из первых этот санитарный путь из области в московские больницы проложила Тонина мама, рядовая

медслужбы еще военной поры. Свой трудовой подвиг, как сказала заведением, провожая ее на пенсию в возрасте семидесяти лет, рядовая продолжала и заканчивала в той же клинической больнице, куда устроила и Тоню. Родила Тонечку последней, восьмой, когда самой было уже под пятьдесят. Понятно, что девчонка вышла так себе. Ножное предлежание — такая довольно фиговая ситуация, когда плод, в данном случае Тоня Кривцова, идет вперед ногами и может по ходу дела задохнуться. Но Антонина не задохнулась, акушеры попались умелые, в той самой больнице, вытащили щипцами, маленько повредив голеностоп. Так что, сами понимаете, девушка не только косолапила по случаю ножки, смотрящей слегка внутрь, но и заметно прихрамывала. Но это как раз не сильно страшно, некоторые даже с полиомиелитом выходят замуж. Тоня знала одну красотку, правда, там дед чуть не миллионер. Так вот она вообще колясочница, регулярно проходила курс реабилитационной терапии у них в больнице. И у нее было два мужа и любовников штук семь. Последний, наркоман, ее и задушил в пакете. Ширнулся и надел на голову, типа шутки, вот так. А Тоне Бог красоты не дал. Нина Филипповна, мамаша, — та интересная была аж до пенсии, потом как с зубами пошла волынка — один за другим весь перёд повыдергала. А у Тони с детства зубики мелкие и темные, хоть рот не открывай, так в ладошку и смеется по сей день. И вся она какая-то мелкая и серенькая, мать так и зовет ее — Мышонок. А за матерью и все. «Мышка, подотри, Мышонок, смени на второй койке...»

Так что смеяться особенно не приходится. Тем более работает Тоня-Мышонок в реанимации. Что ни день, кто-нибудь кончается. Неприятная и даже скорбная работа, но Тоня больных жалеет, всю душу отдает. Притом и доктор есть один, Олег Ильич, Тоня для него что угодно сделает, неделю без сна дежурить будет... Но — где тот Олег, а где она. И вообще, надо сказать, у них в реанимации почему-то все доктора — чистые артисты. Высокие, молодые, загорелые. И сестры, как на подбор, — ангелочки. Наверное, считается, что для тяжелых больных это полезно — видеть над собой красивые лица и ангельские, полные зубов, улыбки... К раю привыкают.

Не Тонин случай. Даже волосами не в мать пошла, а в отца, лысого алкоголика, к общему облегчению помершего от печени прошлой весной. У Нины-то Филипповны копна медная, без седины до старости, косу клала вокруг головы, даже сейчас заплетает на ночь чуть не в пояс. А Тоня... Эх, да что говорить. Мыший хвостик, вот и все. Глазами — это да, мать наградила. Русалочья зелень, изумруд. Да только фиг ли толку? Важны-то не сами глаза, радужка-зрачок, а что в них. Чем изнутри светят. А у Тони ничем особенным ее замечательные глаза не светят. Смотрят просто и без всякого *выражения*. Бывает такое специальное женское выражение в глазах — блядца. Вот у матери — чего есть, того есть, сколько угодно. У ней, болтают, и дети-то от разных мужиков, потому как у папаши по пьяни чуть не с тридцатника на полшестого висело. На самом-то деле не от разных, а от трех. Один еще с войны, майор.

От него первый сын, сам теперь военный, полковник. Племянники старше Тони, и она, выходит, их детям бабушка. Второй в Серпикове проживал, директор лесхоза. Тоня фотку видала — Добрыня Никитич, как на картине. Мать у них в семействе подрабатывала за домработницу. Десять лет любви как один день, трое от него, все парни. Потом убили, конечно. Воровать не хотел. А как на такой должности не воровать? Ну и все. На лесопилке шарахнули по башке «тяжелым тупым предметом». Бревном, чем же еще. А после еще врач был. Благородный такой дядька, на лося похож. Этот сам умер, годами. От него три девки красоты буквально неопикуемой. А Тоня — не иначе, по случайности — от четвертого, законного папаши. Вот и уродилась. От слова «урод». Братья-сестры разъехались с семьями, остались они с матерью вдвоем.

Короче, в этот самый день надо было домой пораньше, у мамы сердце прихватило, отпустили с полсмены. Автобус 21:30 ушел, следующий через полтора часа. Погнала на электричку, успела. Приехала в начале первого, перрон пустой, вокзальная площадь — тоже. Идти недалеко, всего-то минут пятнадцать, если бежать. Вот Антонина и мчалась, припадая налево и в ужасе исполняя шепотом хит сезона.

Шаги за собой услыхала уже совсем рядом с домом. Дом стоял у самой пристани, где других почти и не было. Кривцовой выделили как ветерану войны плюс труда и матери практически героине давным-давно, когда город был маленьким и весь устремлялся к реке. Потом жилье расползлось, пристань

обросла своими портовыми постройками — складами, ангарами, эллингами, днем здесь снует и громы-хает мелко-механическая пролетарская суета районного масштаба, ночью же пустынно и бесчеловечно. В пришвартованных катерах ночуют бомжи, на деревянном настиле речного вокзала валяются в чутком сне собаки. К дому Кривцовых надо спуститься узким переулком, фактически тропкой между заборами, которыми горожане обнесли свои стихийные огороды, уже которое десятилетие не желая урбанизироваться. Травяную улицу с лопухами и бузиной, рябинами, ветлами и дровяными сараями называли набережной.

К этой набережной и летела Антонина, когда полет неожиданно прервался, будучи остановлен тисками, сжавшими сзади Тонины острые локти.

«Ой, — пискнула Тоня и зажмурилась, — не убивай, дяденька, бери, что есть», — и, не раскрывая глаз, вжавши голову в плечи, кинула на землю сумку с лекарствами и большими деньгами — сто рублей родители одного мальчика заплатили за хороший уход, а мальчика-то избили в центре города до полусмерти за его лицо кавказской национальности.

— Не бойсь, корявая, — шепнул в ухо напавший человек, — на что ты мне сдалась убивать. И ридикюль твой на черта мне сдался. Ты тихо, главное дело, хорошо будет.

Мужик развернул Тонечку лицом к себе. От любопытства, пересилившего страх, она открыла глаза. Мужичок, что называется, метр с кепкой на коньках, ростом вровень с ней, притом что стоял

выше по крутой тропинке. Пахло от него, конечно, водкой и потом, но не противно, а как-то... Тоня затруднилась бы сформулировать, а мы, пожалуй, употребим именно это слово: волнующе. Присмотревшись, Антонина обнаружила, что и не мужик вообще, а пацан лет семнадцати максимум.

— Ну, блядь, чо уставилась, — сказал пацан и улыбнулся из-под низкой кепки, отчего Тоня сразу же перестала бояться. — Ишь, зенки-то кошачьи...

— Чего? — переспросила Тоня.

— Через плечо. Фары, говорю, как у кошки. Красивые.

Тоне, кстати, за все тридцать два года никто не говорил про ее незаурядные глаза. Даже мама. Только отец перед смертью, похоже, уже в бреду, прохрипел: «Тоша, родная... глазки богородицыны...»

Пацан Тонины локти отпустил, чем она, надо заметить, не воспользовалась, а продолжала стоять столбом. Вытащил из кармана газету и расстелил возле забора. Обернувшись, приказал: «Ты, это, стой, честно говорю, хуже будет. Малёк побалуемся, и пойдешь. Честно говорю». Потом снял пиджак и положил поверх газеты. Под пиджаком одна майка с растянутыми проймами, худой, как драный кот. Толкнул Тоню, она послушно села на подстилку. «Чо расселась, дура! Ложись давай...» Тоня легла. Пацан расстегнул штаны и повалился сверху.

Дальше Тоня закрыла глаза и уже не открывала их, пока все не кончилось, и своего первого мужчину так и не рассмотрела в подробностях. А парень на ней дергался, чем-то раздирал секретное место,

обеими руками больно сжимал груди и в виде поцелуя шуровал языком во рту. Потом заскулил и уронил голову ей на лицо, тихо бормоча жуткие слова, которых Тоня не слышала даже от отца в кромешных запойных провалах, когда тот махал топором у матери над головой в честь паскудной жизни, которую они друг другу изгадили, как могли.

После, как освободил ее от скользкого вроде обмылка, пацан выдернул из-под Тони пиджак, пихнув ее в плечо: э, ну, разлеглась, блядь... И, неумолчно матерясь, истаял в темноте.

Тоня, как могла, вытерлась носовым платком, подобрала сумку и осторожно двинулась домой. Внутри у ней все ныло и горело. Сделав матери укол, женщина Антонина Кривцова накипятила в ведре воды и долго с удовольствием мылась. Потом выпила водки и с легкой звонкой головой уснула, едва добредя до кровати.

С этой ночи все переменялось. Ощущения, которыми одарил ее безымянный пацан, наверняка такой же бессмысленный уродец, каким был ее отец, Тонечку задним числом буквально окрылили. Она вспоминала каждую секунду подзаборной любви, и ее окатывало жаром. Она попросила полторы ставки и, что ни день, возвращалась домой глубокой ночью, надеясь встретить поганца и снова лечь с ним в лопухах, и обнять костлявые плечи, и услышать запах водки и пота, и не гнать на пожар, а чтоб все красиво, и размеренно, и *страстно* — типа как показывают сейчас в кино. По ночам Антонина ворочалась и делала порой нехорошее. По-

сле чего испытывала страшный стыд, но и небывалую радость. И снова в темноте замедляла шаг над пристанью и даже останавливалась у того самого забора в ожидании. Но так никого и не встретила. А допустим, их пути с пацаном и пересекались в маленьком райцентре Серпикове, что не исключено. Так разве узнаешь даже любимого человека, если полюбил его, можно сказать, вслепую?

Однажды на дежурстве ее вдруг вырвало. Прямо на койку, которую она готовила для новой больной (передозировка). Напарница, пожилая тетя Рая, внимательно на женщину Тоню посмотрела и спросила прямо: «Месячные когда приходили?»

Мать не ругалась. Сказала лишь: «Дура ты, Тонька, нашла время». Но чего зря болтать, обе, слава богу, двужилые, несмотря что одна на девятый десяток выкруливает, а в другой, кроме пуза, тела, считай, и нет.

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН

С моральным комфортом у Люси были серьезные проблемы. Создавал их не только сын Вадик, но и мать, проживающая с некоторых пор в богадельне. Был у нее домик, так называемый огород в черте города, где управляться она уже никак не могла, имея за плечами восемьдесят четыре года. Сколько-то времени старушка пожила с дочерью и внуком. Накрепко объятая маразмом, себя не помнила вовсе, включала газ, путала унитаз с суповой кастрюлей и, как свойственно детям, очень интересовалась своими экскрементами. Когда бабушка вышла в одних подштанниках на лестницу и, мяуча, легла под дверь, Люся послала к чертям все комплексы, присущие русской интеллигенции, заодно с зачатками политкорректности, с трудом пробивающей себе дорогу на постсоветском пространстве, и сдала мать в интернат. Куда ту взяли тоже не сразу, а как следует помытарив дурную дочь в разных приемных, чтоб неповадно было. И пенсию вместе с домиком государство забрало в свою пользу, имея в этом прочный и надежный навык.

Раза два в месяц для очистки совести Люся к ней ездила. Из глаз старухи сочились мутные слезки, она забивалась под одеяло и поскуливала: «Чего тебе, дяденька?.. Уж я старая, не хочу в участок...»

...Вадик искоса наблюдал, как мать изгибается перед зеркалом, неестественно далеко запускает руку за спину, чтобы застегнуть длинную молнию. Они не разговаривали уже полгода — с тех пор как Вадик привел Иру, и та осталась ночевать, а вскоре и жить в единственной комнате, перегороженной шкафом. Между прочим, с Ирой-то Людмила Петровна как раз общалась. «Скажи этому, картошки нету», — в присутствии, причем, сына, и Ира послушно транслировала: «Вадюш, не сходишь за картошечкой, солнце?»

Людмила Петровна, она же Люся, совсем нестарая и свободомыслящая женщина, умом понимала, что ее когда-то горячо любимый единственный сын Вадя, Вадюшечка, в недалеком прошлом нежный худосочный подросток (уши топориком, синеватые ямки над ключицами плюс золотой завиток на тонкой шее), ныне же бледный верзила двадцати шести лет, нуждается, как говорится, в женщине. Мысли о том, что прекрасный Вадик может эту условную женщину полюбить и ни с того ни с сего захотеть жить с ней совместной жизнью, Людмила Петровна, конечно, не допускала. В том, что Ира поселилась тут за шкафом и, с самого утра аккуратно одетая в джинсы и маечку, передвигалась максимально незаметно, бочком, молниеносно принимая душ и скромно поедая на завтрак

вместе с Вадиком геркулесовую кашу, Люся как женщина ее вины не усматривала. Но как мать усматривала чудовищное предательство сына. Во-первых, Вадик с детства ненавидел геркулес. А тут вдруг пробило на овсянку, лопают жадно, как дворняжка. Во-вторых, вообще — как можно привести постороннюю девчонку в дом к матери, еще не старой, повторяю, в пятидесятилетнем соку одинокой женщине?! Он что же, думает, у самой Люси не может быть личной жизни? Ей-то куда девать мужчину, если, точнее, *когда* таковой возникнет на горизонте ее одиночества? На старости лет бежать в вонючую холостяцкую берлогу? А вдруг он женат? Мужчины в возрасте, подходящем для Люси, как правило, женаты. Если не женаты — значит, алкоголики или вдовцы, неизвестно, что хуже. И вот, допустим, приличный человек увлечется свежей, разведенной Люсей, ее пусть близорукими, но яркими глазами, ногами, гладкими, как длинногорлые опрокинутые бутылки, ее хрипловатым смехом и белой веснушчатой кожей, характерной для рыжих, ее культурным уровнем редактора крупного регионального издательства... И чего? По кафе ошиваться? На лавочках мерзнуть? В кино, что ли, ходить? Дрожать на дешевых гостиничных койках среди проституток и наглых командированных?

По ночам Люся мучительно деревенела и вжималась в подушку, чтобы не слышать шорохов за шифоньером. Уловив однажды скорее вздох, чем шепот: «Обними меня...» — так сжала зубы, что

щелкнуло в виске. На работу стала являться раньше всех, пока *эти* не встали. Молодые, в свою очередь, домой возвращались за полночь, пробираясь мимо якобы спящей матери подобно мухам.

На короткое время они даже сняли комнату — в оккупированной кошками развалюхе. Люся прямо с ума сходила от внезапной свободы, на радостях даже стала разгуливать по квартире голая. Пышная весна перетекала в лето, теплый ветер надувал занавески. Люся вымыла окна и долго пила по утрам кофе.

В этот благодатный период как раз состоялся большой татарский праздник. Алсу, коллега и добрая приятельница, как бы ненароком, по-коллежански, пригласила Люсю в свой чудный дом, полный родни, ковров, карапузов, тихой толпой, как малышки, снующих по комнатам; запахи баранины и айвы текли с кухни, орнаментируя застолье тонкой чарующей вязью.

Над пловом колдовали мужчины. Главенствовал высокий татарин в тонких очках с бритым черепом и седой шкиперской бородкой. Люся сперва приняла его за мужа Алсу, которого видела всего раз. Но Камиль оказался дальним родственником из Симферополя. И Люся вдруг побежала в ванную проверять макияж и прическу.

Под плов она пила много сладкого вина, а Камиль все подливал и подливал, и все женщины за столом были равно далеки от него, лишь где-то на словесной периферии мелькнула какая-то необяза-

тельная жена... Байки Камиля из флотского прошлого, в котором он отбывал срочную службу радистом, были до того складными и отточенными, что Люся, профессиональный читатель, опытный поклонник *изложения*, буквально вся сияла. Вышли покурить на террасу.

— Сафа Гирей, был такой хан...

— Я знаю, кто такой Гирей, — улыбнулась образованная Люся.

— Конечно, я так, на всякий случай. Однажды у него в гареме появилась русская, Людмила. И стала его любимой женой. Хан прижил с ней сына...

— А Зарема?

— Не было никакой Заремы. Пушкин, кстати, это прекрасно знал. И Марии, гордой полячки, не было. Распутный хан приблизил этого сынишку. Изнеженное дитя гарема... Ради него Гирей забыл все на свете, в том числе и постаревшую Людмилу, боярскую, между прочим, дочь. А Людмила любила хана, любила страстно, как первого мужчину, как отца этого растленного ребенка, любила... — тут Камиль с едва заметным презрением усмехнулся, — как свойственно русским женщинам: безрассудно. И она...

— Что? — Люся взглянула в глаза Камилю прямо и холодно.

— Она зарезала сыночка. А после закололась сама.

— Вы считаете, это свойственно русским женщинам?

Камиль засмеялся.

— Наверное, я плохо знаю русских женщин.

— Наверное. Зачем вы все это мне рассказываете?

— Ну просто... — Камиль немного смутился. — Вы — Людмила, и как-то вспомнилось...

— Довольно неожиданная аналогия, — отметила Людмила.

— А вы — довольно красивая дама. С такой внешностью можно быть и поглупее.

— Ну, пожалуй, мне пора.

Камиль взял ее за локоть:

— Пойдите. Не уходите так. Я вас не обидел? Можно вас проводить?

— Да бросьте. — Люся мягко высвободила локоть. — А то придется звать вас на так называемую чашку кофе. Сегодня это не входит в мои планы.

О да, Люся определенно неглупа. Определенно, она понимает, как поставить на место смуглого джентльмена со всей его мусульманской ученостью. Определенно, они с Камилем засекли друг друга, и эту мимолетную тень интереса, способную эволюционировать в чувство, не следует спугнуть пошлым приключением.

— Я вас найду, — пообещал хан Гирей на прощание.

— Не сомневаюсь, — буркнула боярыня Людмила.

Разумеется, Камиль ее нашел — на следующий же день, приехав к ней на работу. Они гуляли по городу, обедали в прекрасном (очень дорогом) ресторанчике — с виду обычном дебаркадере, с VIP-местами прямо над рекой, на теплом ветерке, гонящем по воде ослепительные блики. Камиль выходил на

финишный виток монографии о Крымском ханстве, которую писал уже десять лет. Архив Национальной публичной библиотеки располагал самыми фундаментальными материалами, и времени себе на эти драгоценные раскопки Камиль положил до следующей весны.

Людмила не спешила предлагать (точнее, разрешать, поскольку ни в каких предложениях со стороны женщины хан не нуждался) перебираться к ней с зубной щеткой. Иногда они проводили у Люси по два-три дня, после чего Камиль возвращался к родственникам, где всерьез начинал подумывать о разводе.

Лето между тем сменилось осенью, и к тысячелетию города муниципалитет принялся срочно возводить потемкинские деревни. Впрочем, не такие уж и потемкинские. Сносили и строили с татарским тщанием, город распрямлялся и светлел на глазах. Бульдозеры валили по центру куликовской свиньей, и в один прекрасный день Вадик с Ирой со своими тощими чемоданами явились на отчем пороге — буквально как ни в чем ни бывало.

— Нас сносят, — объявила Ира. Она располнела, и по задумчивости улыбки Люся легко догадалась о причинах.

— Поздравляю. Времени, я вижу, вы не теряли.

С этими приветливыми словами мать влезла в новые, на шпильках, узорчатые сапоги с загнутыми носами, накинула какую-то пушнину и вышла не то чтобы хлопнув дверью, но закрыв ее по-особому радикально.

Итак, с одной стороны — Ира беременна, и девать их с Вадиком решительно некуда. С другой же стороны, личная жизнь самой Люси приобретает все более отчетливые очертания. Жена Камиля, юная археологиня, за время отсутствия мужа нашла себе в экспедиции романтического друга, существенно приближенного к ней по возрасту и прочим параметрам. Как это принято у молодых женщин, она легко достигла того же состояния, что и подруга Вадика Ира. И письменно испросила у супруга согласия на развод. Были они, слава богу, бездетны, и Симферопольский ЗАГС равнодушно и заочно их развел.

Столь неожиданно обретенная свобода как бы озарила для Камиля факт, очевидный Люсе на стадии приблизительно третьего сексуального контакта: Камиль — ее мужчина, и она — его женщина. В раннем возрасте это называется любовью, у людей же опытных, на горизонте жизни которых маячат органы социальной опеки, близость такого партнера вызывает чувство покоя, защищенности и взыскуемого морального комфорта. Качество оргазма тут не играет роли — ну, во всяком случае, факультативную, то есть не лишнюю, но и не обязательную.

Они шли по набережной, и ветер уже совсем по-осеннему мел пережженные солнцем листья. Тут-то Камиль и произнес то, чего ждала и боялась Люся: «Деточка, я думаю, нам лучше жить вместе...»

— Ты ничего не рассказывал о своей семье...

— Какая ж семья? Жена вот от меня ушла. Детей нет.

— А родители?

— Мама умерла давно от рака. Отец живет у среднего брата. Нас трое братьев, — пояснил Камиль.

— Видишь, — с непонятым укором сказала Люся. — А я даже не знала.

— Ну а я разве знаю что-нибудь про тебя?

— Вот именно!

— Но какое это имеет значение?

— Это имеет значение. Может быть, ты расхочешь жить вместе, когда узнаешь...

Камиль обнял ее, расцеловал, как маленькую, в обе щеки.

— Ты, конечно, очень толковая дама... Но все-таки дурочка. Ну что, с сыном живешь в одной комнате? Невестка у тебя беременная? Я в курсе, Алсушка рассказала...

— Какая умница. Ну, ладно. Хотя я не очень понимаю, как жить в этих условиях. А больше Алсушка тебе ничего не рассказывала?

— А что еще? — Камиль слегка насторожился. — С вами еще кто-нибудь живет?

— Нет. С нами никто больше не живет. Мы, знаешь... Мы сейчас съездим с тобой в одно место. Это недолго. Час-полтора.

«Не дай бог поселиться здесь когда-нибудь», — думали все без исключения посетители, только еще подходя к страшному дому, с которого, казалось, прямо на глазах осыпалась гнусная розово-серая штукатурка. За мутными стеклами маячили какие-

то тени. Грязные цементные ступени крыльца под ржавым козырьком были сбиты до арматуры, оцинкованная дверь напоминала о морге. Окна в серых рассохшихся рамах никогда не открывались, намертво сжатые осевшими проемами. Невыносимый запах мочи, перебивающий всю остальную вонь: тухлой капусты, кала, немытых тел и волос, — вцеплялся в ноздри уже на ступеньках, становясь с каждым шагом все злее.

В палате лежали и сидели на койках в рваных простынях или вовсе без них десятка полтора старух. «К Шуре, к Шуре...» — зашуршали, как мыши.

— Здравствуй, мама... — сказала Люся без выражения.

Крошечная старушка натянула до подбородка синее байковое одеяльце, под которым тело вовсе не угадывалось, и запричитала свое:

— Чего тебе, дяденька, не хочу, чего ты...

— Вот, мама, поешь, — Люся сгрузила на шаткую тумбочку гроздь бананов. — Почистить тебе?

Со всех коек потянулись костлявые руки в синяках от капельниц: «Дай, мне дай, дай покушать, дай...»

Люся очистила банан и поднесла к лицу матери. Старушка мелко затряслась и накрылась с головой. Люся отдала банан соседней бабке, и та жадно его сожрала.

На Камиля Людмила ни разу не взглянула. Только на улице, глубоко вдохнув сырого воздуха, расслабилась, опустила плечи — всякий раз, входя сю-

да, она вся непроизвольно сжималась, словно ожидая удара.

— Бедная ты девчонка... — сказал Камиль. И Люся наконец разревелась и редела долго, с икотой и судорожными всхлипами, жадно, как бабка, пожирающая банан.

В этот вечер она познакомила Камиля с сыном. Грех был отпущен, и Люсе показалось, что очень скоро жизнь каким-то образом совершенно изменится. «Он будет здесь жить, — сказала Людмила Петровна Вадику и Ире. — Все будет хорошо». И все они, как в многоместной палате, аккуратно легли спать. Засыпая, Люся почувствовала, что мама умерла.

Камиль нашел дешевую таджикскую бригаду. Лоджию расширили, объединили с комнатой и, заложив стенки кирпичом (благо первый этаж), утеплили. Сломали стену между комнатой и кухней. Новую фанерную перегородку в целях звукоизоляции с обеих сторон закрыли коврами. Вышло две уютные комнатки. В светлой («спальне») угнездились в ожидании птенца молодые, в «столовой» с небольшой коллекцией оружия, красиво развешанной Камилем по ковру, — «старики».

Семья замирилась вокруг нового и бесспорного главы, что свидетельствует о необходимости в любом обществе твердой руки. В относительном дружелюбии готовились к появлению очередного жильца.

В феврале Ира родила Люсе внуку, и центр семьи сместился к маленькой кроватке с лысым и на

удивление спокойным человечком. Девочка, которую вопреки настояниям бабушки не пеленали, как бы олицетворяла вековую мечту человечества о покое и воле. Молодые вообще много экспериментировали, начиная с родов в воде. Разумеется, малышка вовсю рассекала в ванне. Ну и доплавались. Несчастье грянуло, когда никто, даже посторонний Камиль, уже не мыслил себе жизни без лягушонка с беззубой улыбкой. Однажды мимолетный сон сразил на миг усталую Ирочку, бесконтрольный лягушонок вместо того, чтобы выдохнуть в воду, вдохнул. И был этот вдох последним. Много ли ему надо, бедному сухопутному лягушонку...

...Напиваясь, Вадик зверел. В трезвом виде просто ни с кем не разговаривал, жену иначе как «ирод» не называл. А пьяный... На бедной Ирочке уже живого места не было. Здоровый Камиль еще мог справиться с горемыкой. Но не дай бог его поблизости не оказывалось: дело дошло до того, что одичавший Вадюша в щепу изрубил коллекционной шашкой дверь в ванную, где прятались мать с женой, и попер на баб чисто Чапай. В лучших национальных традициях: соседи, милиция, квартира в клочья, битое стекло хрустит под ногами... Ира с черепно-мозговой травмой в больнице, Люся с Камилем кантуются у Алсу, переживают очередной запой. Туда и прилетела весть о пожаре.

Из психушки Вадик вернулся в состоянии законченного овоща. Ира сгинула. Люся, изможденная старуха в свои пятьдесят два, изводила Камиля ис-

териками. Отремонтированное после пожара многострадальное жилье тихо загнивало и погружалось в сугробы хлама, как бывает, когда из дома уходит надежда.

— Деточка, — говорил Камиль, когда Люся, отрыдав, оглушенная транквилизаторами, затихала в его объятиях. — Надо отдохнуть. В Гурзуфе у брата домик, окна в парк, рядом море, дельфины прямо к берегу подплывают...

— Да как же я его оставляю... — вновь начинала плакать Людмила, поскольку мать боролась в ней с женщиной и побеждала, отягощенная к тому же виной перед собственной матерью, которая вдруг стала являться к Люсе во сне с пугающей частотой — молодая, с длинной рыжей косой и вся в дерьме.

В конце концов Камиль сдался и уехал в свой Гурзуф один. Звонил непрерывно и даже прислал билет на фирменный поезд «Бахчисарай». Целую ночь проплакала Люся щекой на глянцевой плацкарте: купе, нижнее место.

Единственная вещь, вернее, стихия, которая пробуждала Вадима от его тупого полусна, была вода. При слове «мыться» он впадал в беспокойство и даже ярость, плакал и отбивался. Из поджарого жеребца с ногами циркулем за год под действием препаратов бедный Вадик превратился в бесполоую вздутую квашню. Квашня, главным образом, дремала; пробуждаясь же, требовала корма и монотонно материлась. «Пусть бы он умер» — эта страшная идея, можно сказать, овладела Людмилой Петровной и готова была стать

материальной силой — при поддержке хоть одного какого-нибудь человека.

Вася Ширяев, придурок средних лет, отдыхал на задах своего овощного, где его из жалости держали грузчиком. С утра он перетаскал полтонны картошки и имел все основания выпить. С закуской было сложнее. На водку у Васи хватало всегда, закуску же он покупал обычно с аванса, а аванс был как раз позавчера. Так что Вася уже сутки не жрал и вид имел бледный, хотя и закамуфлированный грязью. И вот аккурат после первого стакана к нему, можно сказать, слетел ангел. Баба не так чтобы старая, но как бы пожеванная. Культурная, одним словом, гражданка в темных очках. Осторожно обходя тухлые лужи и кучи гниющего неликвида, баба приблизилась и давай рассматривать Васю поверх очков.

— Вам чего? — отчасти возмутился Вася, потому что не любил, когда ему мешали отдыхать.

Баба, видать, приняла какое-то решение.

— Хочешь заработать? — спросила. И добавила: — Если трепаться не будешь.

Вася встревожился. Не любил он, когда нельзя трепаться. И правильно не любил, потому что о хорошем деле молчать не просят. Но дела, о котором с натугой и треском в пальцах, маленько даже задыхаясь со страху, терла баба, Вася вообще никак не мог осмыслить. Для прочистки труб хватил он еще стакан и вылупил на тетку глаза, розовые, как окрашенные сквозь скорлупу пасхальные яйца.

Потому что дело было не просто какое-нибудь незаконное. Жуткое... мокрое, прямо сказать, дело.

— Не бойся, — шептала баба, — он сопротивляться не будет.

— Опухла ты, тетя? — Вася запаниковал. — Да я сроду никого не мочил! В седьмом классе только кошку раз повесил. Блевал после, как с политуры...

— Три тыщи дам.

— Сколько? — зарплата чернорабочего Васи Ширияева составляла две восемьсот.

— Пять, — испугалась баба. — Только смотри... Как тебя? Вася? Постарайся, Вася, быстро. Чтоб не мучился мальчик...

— Деньги вперед, — буркнул Вася, потупившись.

Выпил Василий этим вечером на славу. И закусил неплохо — салом, самсой, да плюс дармовыми апельсинами. А проснувшись под утро с чугунной головой, отлил и вспомнил про источник своего благосостояния. И вмиг протрезвел.

В девять утра из отделения, где Ширияева знали как родного, по указанному Васей адресу стартовали двое оперов.

Людмила Петровна делала Вадику укол, когда в дверь позвонили. Сердце бешено запрыгало — в груди, в горле, в животе — повсюду. На ватных ногах Люся медленно двинулась навстречу свободе и любви. И тут выросла перед ней мать — высокая, как в детстве, с рыжей косой вокруг головы и в чистой исподней рубахе. Мать раскинула руки, рассмеялась: «Бежи, доня моя, бежи шибче!» Ветер

Алла Боссарт

с реки сдернул панамку, ударил в лицо, Люська шагнула непослушными ножками, яркий свет вспыхнул, вода раскололась...

Менты слышали шум, что-то тяжелое глухо шмякнулось, посыпалось стекло... Позвонили-позвонили еще с полминуты и стали ломать дверь. Отмычки, козлы, опять забыли.

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ

Просто удивительно, как у Женьки, такой великолепной красоти, родился этот уродик. Вылитый утенок Дональд. Женькино очарование в Ульяне отразилось как в кривом зеркале: аккуратно вздернутый носик — невероятной курносостью, полные, луком изогнутые губы — резиновой губошлепостью, ямочка на круглом подбородке — глубокой вмятиной. Ну и глаза, знаменитые чуть раскосые Женькины очи вылезли у лупоглазой девочки где-то на периферии лица, ближе к ушам.

Впрочем, пока Уля была маленькой, она вызывала всеобщий восторг. Во-первых, рукастая Женька наряжала дочку, как куклу. И, во-вторых, ее утячья голова клубилась столь неукротимыми золотыми кудрями, что каждый встречный и поперечный только и восклицал: «Ой, какая прелесть!»

Будучи в маму сто и даже двухсотпроцентной женщиной, Уля легко поверила, что она именно не что иное, как прелесть. И, подрастая, вела себя соответственно, на подруг смотрела свысока и с лег-

кой жалостью (почему их у нее, собственно говоря, и не было), а над мальчиками смеялась. Между прочим, хотя кое-кто из старшеклассниц уже попробовал новые ощущения, Уля единственная встречалась сразу с двоими, причем по полной программе.

По мере того как дочь таким образом выросла, Женя отнюдь не старилась. Даже когда у нее обнаружили опухоль и отрезали ее прекрасную круглую грудь, и она стала пристегивать под бюстгальтер полушарие протеза, — даже эта неприятность ее ничуть не испортила, и молодой хирург-онколог влюбился в нее. Из больницы Женька вернулась совершенно счастливой, пополнив парк своих любовников этим хохотуном с чистыми, коротко остриженными ногтями на могучих лапах.

Было бы несправедливо утверждать, что Уля плевала на мамину болезнь и ее неразборчивую жизнь в целом. Например, она ездила к отцу, когда тот ушел окончательно: под видом консультаций по физике перед выпускными экзаменами затеяла миротворческую операцию. Папа сказал: «Глупышка ты моя». И нос прищепил двумя пальцами. А потом, уже когда Уля ходила гордая и беременная, не зная точно, от кого, папа потрепал ее по кудрявому затылку и опять сказал: «Ты моя дурочка, вся в мать...» «В смысле?» — насторожилась Ульяна. «Да в смысле отвернуться нельзя».

А потом сразу одно за другим: папа уехал с новой женой в Израиль, у мамы нашли опухоль, а Уля родила. Ну и тут уж, конечно, ей стало немножко не до мамы.

Улины соискатели (двое бывших одноклассников и один взрослый дядька из Питера, отдыхали вместе в Коктебеле), надо отдать им должное, Уле звонили и писали электронные письма. Жениться, однако, не предлагали. Ленинградец, сказать по правде, был женат и про интересное Улино положение не знал. Ну, онколог, понятно, лицо тут и вовсе постороннее, на него вообще никто особо не ориентировался, тем более он обожал, что называется, *травить* идиотские бородатые анекдоты с душком, и Же-ня с ним довольно оперативно рассталась — быстро и легко. Намного легче, чем с грудью.

Итак, проживала в спальном районе Москвы, на улице, что характерно, Свободы семья из трех поколений женщин и детей, которой решительно не на кого было опереться, кроме как друг на друга.

Отчество дали малышу «Ульянович», хотя бабушка утверждала, что такого отчества быть не может, потому что мужчин Ульянами не называют. Уж наверное, ухмылялась резиновым ртом Уля, если называют Авангардами, уж небось и Ульяном можно. И прадедушка младенца Авангард согласно кивал ей с небес. Крестили же паренька коротко и ясно — Петром.

Ульяна по-прежнему жила с самоощущением прелести, в котором Петр Ульянович ее не только не поколебал, но и упрочил. Настолько, что перед напором самодовольной девицы не устоял знаменитый телевизионный продюсер и взял ее в свою передачу «Без паники» сперва рядовым редактором, а вскоре и ведущей. Пять ночных эфиров в неделю.

Бабки ломовые. Женька, белозубая, ни одного седого волоса, по-прежнему немножко шила на заказ, а в основном возилась с внуком, поскольку Уля валилась с ног. Телевидение, если кто не знает, высасывает людей, как креветок, и фон в Останкино очень нездоровый — в прямом физическом смысле.

Приехав однажды, как обычно, в два часа ночи, Ульяна застигла маму в экстазе нового романа. Сияющая Женька выскочила в прихожую и горячо зашептала: «Только не колись, что ты дочь. Сестра, поняла? Мне тридцать два, поняла? Петька племянник, а ты — сестра, умоляю!» На кухне, прислонив к стулу тяжелую трость, сидел умопомрачительный Грегори Пек из «Римских каникул». Мать, видно, это четко осознавала и чисто работала под Одри: завитая челка, белая строгая блузка, широкая юбка, изумленные заячьи глаза. Ну вот где, интересно, она его откопала, сидя дома?

Уля выпила с гостем замечательного португальского портвейна, выслушала сообщение о своем поразительном сходстве с Женечкой, похвалила Дмитрия за наблюдательность и ушла к Петяше спать. Однако не спалось что-то. Мама с Дмитрием тихо смеялись на кухне, звенели посудой, потом настала тишина. Потом хлопнула входная дверь. Мама долго плескалась в ванной и басом пела: «Бес-саме мучо!»

Поздним утром в комнату вплыл аромат кофе, и Женька с подносыком уселась к дочке на кровать, вся лучась навстречу ее мрачному взгляду.

— Чего злишься, дуреха? Я ведь еще сравнительно нестарая женщина... Мы с ним почти ровесники. Он отличный парень, ей-богу...

— Журналист? А ты — принцесса? Все детство в жопке играет, сестренка? А?

— Пей, остынет. Почему обязательно журналист? Я вообще понятия не имею, кто он. Какая разница? Мы в скверике познакомились, с собакой он гулял, я у него прикурила, то-се, разговорились...

— Сто раз тебя просили не курить рядом с коляской! Когда?

— Что?

— Когда вы с отличным парнем познакомились?

— Ну вчера...

— Вчера! Ну не прелесть? А чего ты сразу его не привела вместе с собакой? Может, он у нас поживет? Может, мне ему ботиночки прикупить? Чего это он среди зимы в кроссовках? Давай поможем отличному парню, у него работы, небось, нет?

— Что ты несешь, Уленька? — Женя поджала губы. — Я все-таки мать твоя.

— Ах, ма-ать? Не сестра, нет? Младшая? Мамочка, он ведь жиголо, это ж поперек морды написано! Красавчик, альфонс безработный!

— Да с чего ты взяла, что безработный? Нормальный мужик, собака у него дорогушая, вся в складках такая, знаешь?

— Мозги у тебя в складках, мать, вот что. И нечего ему к нам ходить. Обворует, и хорошо, если по башке не даст своей клюшкой. Он чего, хромой?

— Дура, ты, Уленька. Да, прихрамывает, и что? Его это не портит.

— А как же вы с ним тюр-лю-лю? Ножка не мешает?

Женька расхохоталась.

— Знаешь, он мне чего сказал? Ты, говорит, как амазонка. Они, говорит, себе правую грудь выжигали, чтоб стрелять из лука не мешала. Два сапога мы пара, понял, дуралей?

Дима неплохой оказался дядька, но, если честно, и вправду темноватый. «Сестры» мало что знали о нем. Какая-то непонятка с женой: то ли в другом городе, то ли вообще умерла. Работа тоже невнятная, командировки, толстые пачки денег. Как-то раз Ульяна без спросу полезла к нему в карман куртки за сигаретами и наткнулась на пистолет. Рассказывал, что колено ему прострелили в армии, служил в конвойных частях, в лагере. Во время побега зэк шмальнул. Каков сюжет? Уля загорелась, стала звать в передачу. «Спятила?» — сказал Дима и вдруг погладил по щеке костяшками пальцев, заглянув в глаза со своей невозможной улыбкой. Улю как ошпарило.

Женька проходила свой ежегодный профилактический курс, неделя в клинике. Уля взяла отпуск. Дима уже месяц как жил у них со своей знаменитой собакой.

— Янчик... — позвал Дмитрий по-своему и пальцем погладил по бровям, отчего Уля сглотнула и закрыла глаза. — Уль-янчик...

Пальцы у него невероятные. Такими, подумала почему-то, только сейфы вскрывать. Петька мирно

сопел в коляске на балконе, и на миг, чего никогда с ней не бывало даже в прямом эфире, Уля совсем позабыла о нем. Пальцы на шее, на ключице, на груди... Два крепких полноценных плода, радость за комплект которых вдруг горячо ударила в Ульяну изнутри, как язык в своды колокола.

Несколько, а именно пять раз в эту ночь Уля, она же Янчик, воспаряла в неведомые ей доселе выси и кусала свой кулак до крови, чтобы не закричать и не разбудить Петяшу. В последний, пятый раз, уже под утро, она заплакала и спросила сквозь слезы: «Кто ты, чертов Дима?» Он тихо рассмеялся и не ответил. И она спросила тогда о другом: «А Женя?» Дмитрий помолчал, по очереди, один за другим, целуя ей пальчики.

— А какая проблема? Я вас обеих люблю, и тебя, и твою мать...

— Какую мать? — испугалась Ульяна.

— Янчик, вы кого решили обмануть? Женя подделала паспорт, извини меня, бездарно. Хотя чего уж проще исправить 54-й на 69-й. И другие документы я проверил, девочка моя сладкая. Я стреляный воробей, во всех смыслах. Ну-ну, не бойся, — Дима ласково надавил ей ладонью на плечо, и Уля послушно легла. — Вам с мамой меня бояться нечего. Все будет очень хорошо, я парень надежный.

Ульяна, немедленно поверив, вздохнула со всхлипом и рухнула в сон. А Дима встал, покормил Петьку кашей с яблочным пюре и поехал в больницу.

И прожили они так года два. Каждая, не ропща, ожидала своей очереди, Дима же властью не зло-

употреблял, любил обеих, как обещано, равно, щедро, надежно и великодушно. Живут же на Востоке даже и в наши дни — по двое-трое с одним мужем, а если муж побогаче, то хоть пять жен, никто не ограничивает. Конституцией, между прочим, не запрещено. Или запрещено? Уля на работе порылась, но ничего конкретного не нашла.

А когда Дмитрий не вернулся из «командировки», мама и дочка вдруг поняли, что нет у них ни одной нитки, чтобы потянуть за нее и узнать хоть что-нибудь. Можно было, конечно, показать фотографию по телевизору, уж это-то Уле — как нечего делать. Но чего-то побоялась. И без фамилии как-то глуповато. Да и не сказать с уверенностью, Дмитрий ли он вообще, а то может, допустим, Леха или там Григорий. Правду говорил, уж очень все было хорошо, честное слово. Так классно, что совсем не хотелось копаться и до чего-нибудь докапываться.

Петька первое время скучал, спрашивал. И Фраер, серый пес в складках, долго еще лежал у дверей, тяжелой головой на лапах, ждал.

ПОПОВНА

Случилась эта незначительная история в давние и незапамятные времена, когда у людей еще не было компьютеров и связанных с ними удобств и печатать различные тексты приходилось на пишущих машинках. Женщин, которые зарабатывали перепечаткой рукописей, называли машинистками. Еще раньше машинистки фигурировали в обиходе как «пишбарышни», что звучит не только коряво, но и довольно пренебрежительно, и вообще, согласитесь, унижает достоинство женщины, тем более самостоятельно трудящейся, как та же машинистка Ксения — без чьей-либо поддержки и материального участия, будучи матерью-одиночкой и одновременно сиротой в свои неполные сорок лет.

Ксению я запомнила неслучайно. Мы в свое время рожали с ней в одной палате, и у нее с Божьей помощью родились близнецы. Как такое не запомнить. Не каждый день рядом с тобой лежит женщина, кормящая по-македонски, с двух рук.

Тогда, в роддоме, Ксения, как и все мы, от нечего делать много о себе разболтала лишнего. И, в частности, что является не только машинисткой-надомницей, но и одинокой матерью без мужа и даже любовника. Об этом, кстати, мамашки и сами догадывались и подозревали. Потому что Ксению никто не навещал. Только отдельные подруги. И еще батюшка. В смысле, еще живой в ту пору отец и он же священнослужитель — когда в цивильном, а когда и в рясе. То есть Ксения, проще говоря, была поповна.

Милая и очкастая средних лет поповна Ксения, зарабатывающая на жизнь перепиской всяких рукописей (в том числе и антисоветских) на электромашинке «Олимпия», призналась, что всегда очень хотела детей, и даже вышла для этого замуж (без любви) за молодого дьякона. Семь лет прожили, однако без толку. И дьячок с горя постригся в монахи, оставив Ксению соломенной вдовой. Было же ей к тому времени тридцать три года. «Как Христу», — смущенно улыбалась эта, скажем так, мадонна и счастливая мать двух безымянных дочерей.

И вот как раз под Пасху ей приснился сон. Будто бы слетает к ней с крыши птица типа голубя-сизаря, из тех, что на помойках шакалят, и говорит ей на незнакомом языке, однако Ксения понимает: на будущий год родишь детишек, греха в том нет, а мужа не ищи.

Ксения к отцу: так и так, что делать? Папа головой покивал, перекрестил: «Не нам решать, как уж

Бог управит». Вот какой разумный батюшка. Можно сказать, толерантный, что для православного священника вообще нетипично.

И вызывает раз Ксению на переговорный пункт почтового отделения подруга — девочка одна из машбюро. Срочная, говорит, халтура, давай, говорит, пополам. Ксения поехала за рукописью — а там страниц шестьсот, и почерк как у врача. Стала разбирать с середины: «...кусты. И ягод твердых высохшие четки, и елей черные кресты на белом небе вычерчены четко...» Записано в строку, но Ксения догадалась, что стихи. Стихи ей понравились. Особенно одно — она вообще, пока печатала, многое запоминала, не то, что другие, лупят себе как заведенные, а думают, как бы яйцами разжиться к той же Пасхе (дефицит в стране царил тотальный и повсеместный). Нет, Ксения вчитывалась и размышляла над всяким текстом, даже про какие-нибудь сверхпрочные конструкции. Рисовала в уме всякие образы и мечтала. Что удивительно, рассеянность никак не отражалась на скорости работы и абсолютной ее грамотности. Назовем это полифонизмом сознания. Ну вот, стихи, значит, вот какие ей понравились и запомнились слово в слово, она читала нам в тихий час, и мы, затаив дыхание, слушали и соглашались. «Брела блаженная, босая, ополоумев от потерь, дороги пятками листая, сквозь зной, и слякоть, и метель, забыв, что — баба, что природа велела родами кричать, чужие облегчала роды в тужурке с мужнего плеча. В его портах, в его исподнем, благо-

уханна и права, всех жен послушней и свободней, бредет кронштадтская вдова...»

Со своей застенчивой улыбкой Ксения говорила, что это — о ней. О Ксении Кронштадтской, более известной как Петербуржская, любимой святой ба-тюшки, в честь которой ее назвали. Она так любила своего мужа (не наша Ксения, у которой мужа, как известно, не было, а та, святая), что когда он умер, не могла смириться с этим фактом, надела его одежду и вообразила, что она — это он. И пошла по дорогам, принося всем, кто ее видел, счастье. Особенно детям.

Ксения печатала сутки напролет, потом пару часиков поспала и к вечеру все закончила. Подружка из машбюро сама приехала за рукописью. Работа была из тех, о которых следует помалки-вать, за рубеж, что ли, передавали стихи, — в об-щем, Ксения была тут звеном во всех смыслах не-легальным. Но автор-то, небось, разобрался, что заказ выполняли две машинистки. Потому что Ксения печатала с душой, а это всегда заметно. Тем более она вложила в толстую пачку незамет-ный листочек: «Уважаемый Поэт! Мне очень по-нравились Ваши стихи. Не сердитесь на Ирочку, я не болтлива. Меня зовут Ксения. Буду Вас ждать с десяти утра в понедельник у пригородных касс Рижского вокзала. Если придете — спасибо. Если нет, тоже ничего, я живу недалеко, только без телефона».

Стояло страшное лето, горели торфяники. Над Москвой стелилась едкая гарь. Люди старались

сбежать из города, особенно в северном направлении, где еще можно было дышать. На вокзалах у пригородных касс по субботам и воскресеньям собирались так называемые группы выходного дня, одинокие люди, которым не с кем проводить свободное время, вот они и проводят его друг с другом, незнакомые и часто психологически несовместимые люди разного возраста и культурного уровня. В понедельник народу было, конечно, поменьше, группы выходного дня делились с коллегами воскресными переживаниями. Эти двое без труда вычислили друг друга. Поэт лет сорока-пятидесяти со своей квадратной черной бороденкой оказался похож на Ксениного ризеншнауцера Мефодия, которого она щенком подобрала на платформе с проломленной головой. Сразу, словно по компасу, поэт, как в свое время и щенок, направился к милой очкастой поповне в мешковатом платье из серой рогожки с вышивкой по рукавам. Такие войдут в моду лет через двадцать, о чем Ксения вряд ли подозревала, когда шила себе наряд из древней скатерти.

Хлебнул из горлышка пива, утерся и спросил без улыбки:

— Не меня ждете?

— Вас, — моргнула Ксения. — Я Ксения.

— Очень приятно, — обрадовался поэт. — А я Джон.

— Джон? — удивилась Ксения.

— А что? — поэт снова выпил и протянул бутылку женщине. — У меня папа американец. Был, конечно. На войне погиб.

— Ох... — Ксения перекрестилась. — Во Вьетнаме?

— Во Вьетнаме? — переспросил Джон. — А, да, конечно. Ну и жара. Выпей пивка-то.

— Спасибо большое, я не пью. Спасибо вам, что пришли, я не надеялась. Хотя, если честно, надеялась. И билеты уже взяла до Истры, ничего? Там река, водохранилище, пляж хороший. Еда у меня есть. На станции можно арбуз купить. И народу сегодня мало. Спасибо вам, Джон.

Он никогда не видел столь искренних и простых женщин. Даже в деревне, где до сих пор мыкалась его слепая мать, таких уже не было, не говоря о городском окружении.

— За что ж мне-то спасибо? — усмехнулся бородатый поэт, показав плохие зубы. — Ты и билеты взяла, и еду. И сама такая... — он затруднился с определением.

— Какая?

— Ну... как надо.

— Это кому как, — заметила Ксения без кокетства. — Я, знаете, мало кому нравлюсь.

«Ну и баба», — подумал поэт, а вслух признался:

— Да я, по правде говоря, тоже.

Арбузов на станции Истра не оказалось, а пиво было. «Для рывка», — сказал поэт. И, протянув Ксении стаканчик пломбира, добавил: «Детям — мороженое».

Ксения повела Джона подальше от пляжа, кишевшего, несмотря на понедельник, дачными телами. Между ивами темнела глубокая заводь. Пологий бережок спускался в воду узеньким песчаным серпом. Это было любимое Ксенино место, куда она

приезжала из своего Нового Иерусалима, а иногда, под настроение, шла и пешком через поля — всего-то километра четыре. Джон лег на травку, глянул в небо, засмеялся: «Ну, благодать... Ты, Ксения, волшебница, а?» Ксения покраснела, деловито расстелила тонкое, прожженное утюгом одеяло, выгрузила из сумки хлеб, сыр, помидоры, банку домашних баклажан, яблоки, салфетки.

— Ой, нож-то забыла. У вас нет случайно?

— Случайно есть, — засмеялся поэт. — Что есть, то есть.

— Вы режьте пока, я за водой сбегаю. Тут родник освященный, вода сладкая, просто живая! Или вместе сходим? Хотите?

— Да нет, устал я.

С этими словами поэт взял Ксению за руку, притянул к себе и жестко, убедительно поцеловал в губы. Купальник у Ксении был в высшей степени закрытый. «О как!» — царапал поэт худые поповнины плечи, просовывая под бретельки железные пальцы.

Был ненасытен. Мыча, настигал Ксению даже в воде, где она пыталась остудить натруженное лоно, а потом снова и снова ловил на берегу, словно бабочку, кидаясь на нее с хеканьем. Как щенки, они перекатывались по траве, забыв о святом источнике и вообще о чем-либо святом.

— Почитайте что-нибудь, — попросила Ксения, когда оба, мокрые и обессиленные, раскинулись в тенистом предбаннике рая.

— В смысле?

— Что-нибудь свое... Стихи...

— Стихи?! Слушай, я с тобой в натуре охреневаю. Хошь, спою?!

— А вы и песни пишете?

— Не, ну ты чудо в перьях...

И поэт запел: «У тебя глаза, как нож, если прямо ты взглянёшь, я забываю, кто я есть, и где мой дом, а если косо ты взглянёшь, как по сердцу полоснёшь...» Тут он хрипло хохотнул и захрапел. «Ну, как хотите», — зевнула и Ксения. Полежала в счастливой истоме и уснула, простая душа, сладким безгрешным сном.

Проснулась Ксения под вечер, одна. Упаковала подстилку, остатки провизии, чтоб выкинуть по дороге на помойке, оделась. Куда-то девался кошелек, вывалился, наверное, из широких карманов платья. Пошарила, но так и не нашла. Да там и была-то всего мелочь на дорогу до Нового Иерусалима, где она проживала без телефона в доме при храме со своим батюшкой.

Принялся накрапывать долгожданный дождь, и вскоре ливень встал стеной. Ксения, блаженная и босая, с наслаждением окуная пятки в теплую грязь межи, брела к дому, где убежденно молился о ней и будущих внуках новоиерусалимский приходской священник отец Порфирий и тихо скулил под столом исцеленный подросток-ризеншнауцер Мефодий, так и не изживший за два года страха перед грозой.

ВЛАДЫКА

Ни на какие вопросы Медея не отвечала. Только раз, когда старенький и стройный, как мальчик, прокурор спросил, верит ли она в Бога, обвиняемая громко засмеялась (отчего все присутствующие содрогнулись и, несмотря на заключение судмедэкспертизы, уже не сомневались в том, что бедняга, как говорится, «ку-ку») и крикнула: «Засуньте себе вашего Бога!»

По воскресеньям, когда Котэ гонял обычно с пацанами в футбол, с галереи спускались тетя Натэла с Медой, обе в длинных юбках и платках — мать в черном, как все старухи, хотя старухой не была, а была красавицей, Меда — в цветном, и тоже красавица, чистая и нежная лицом, чуть хмуря для важности тонкие брови и сжав губы, от которых Котэ не мог оторвать глаз. Ведь ему было уже четырнадцать, у него пробивались усики, а соседке шестнадцать, и она обращала на него ноль внимания. Меда бросала на мальчишек косой взгляд и пре-

зрительно усмехалась, от чего Котэ, да и не он один, сходил с ума, и выпячивал грудь, и бежал вразвалку, пыля и с треском круша ореховую скорлупу.

Тетя Натэла с дочкой пели в церковном хоре. Многие во дворе помнили отца тети Натэлы. Он был убит в храме в тот жуткий и тайный день 9 марта 1956 года, когда, по слухам, в Тбилиси расстреляли чуть ли не тысячу человек. Котэ ничего этого не мог помнить и не знал, как солдаты новой власти стреляли в толпу, привалившую на площадь Ленина, бывшую Берии, отметить годовщину смерти вождя и отчасти бога. Котэ еще не родился тогда, а Меда уже родилась и сразу лишилась дедушки. Солдаты ворвались в набитую битком церковь, где дедушка читал заупокойную молитву, и принялись палить. Настоятель маленького храма в тот момент не придавал значения тому, что Сталин — убийца и исчадие. Он был для него одним из рабов Божьих, и дедушка исполнял свой долг пастыря. И его убили. И еще много народу перебили, как куропаток. В том числе и мальчишек, на свою беду постарше Котэ и Меды, мальчишек и девчонок, облепивших 9 марта 1956 года деревья вокруг площади и по всему центру: день за днем всю неделю с третьего числа они срывались с уроков и бегали на «шатало» — весело было.

Что касается Меды и ее мамы Натэлы, то они продолжали, как могли, дело дедушки и служили Богу своими хрустальными голосами: Натэла — сопрано, а Меда — редким *diskanto angelo*, который присущ обычно мальчикам (ломаясь навсегда

после тринадцати), а у девочек практически не встречается. Регент прочила Медее оперную карьеру, но ошиблась. После первых родов голос пропал.

Почему Меда согласилась выйти замуж за соседского мальчишку, для многих осталось загадкой. То есть понятно, что Котэ красавицу в конце концов «дожал». Десять лет караулил за каждым углом, заваливал соседский балкончик ворованными розами. Десятиклассником провожал в институт (вопреки ожиданиям регента Меда поступила в педагогический на отделение дефектологии: мы забыли упомянуть о ее братишке-дауне, собственно говоря, старшем брате, но по сути — младшем, совсем беспомощном и неразумном). Котэ ждал под дверями и таскался за ней повсюду. В том числе и в церковь, конечно, которую Меда отнюдь не бросила, а возглавила там воскресную школу для таких же убогих, как косолапый Гога.

Котэ был не только моложе Меды, но и на голову ниже ростом. И если честно, несусветная красавица стеснялась своего ухажера. И вот это-то и было его козырем, о чем никто не догадывался. Дело в том, что Медея являлась фактически ангелом. И нипочем не допустила бы ни малейшей обиды или несправедливости в адрес ближнего, почему и считала себя обязанной быть к Котэ особенно доброй и великодушной, изо всех сил скрывая досаду.

Ну и Гога, конечно. Вот кто любил Котэ, как умеют любить только больные дети и собаки. Уже школьником Котэ понял, кто может быть его эмис-

саром в этой неприступной крепости. Он подолгу и ласково беседовал с косноязычным Гогой; покупал ему в «Водах Лагидзе» сливочную с тархуном и пломбир; чуть ли не каждый день они вместе смотрели любимый Гогин фильм «Человек-амфибия», который не сходил с экрана кинотеатра Руставели двенадцатый год. Да, можно смело сказать, что Гога обожал Котэ, своего единственного друга.

Между тем женихов у Меды становилось все меньше. По грузинским меркам она перешла границу молодости и неумолимо входила в ранг переспелки. В двадцать шесть лет ангел Медея уступила, взяв с Котэ слово немедленно креститься.

Котэ закончил физфак университета и по-прежнему играл в футбол. Тетя Натэла умерла от рака, дождавшись первой внучки, названной в ее честь. Родители Котэ на невестку буквально молились, но бедный Гога своим одутловатым лицом, голубиным бормотанием и неряшливым обжорством доводил новую «маму» до истерики. В этой связи квартирку тети Натэлы продали и купили маленький домик между Тбилиси и Мцхета, недалеко от церкви. На радостях родители отдали Котэ свою «пятерку».

Гоге перевалило за тридцать, он изо всех сил старался быть хорошим и полезным мальчиком, с утра до вечера копался в саду, и сад цвел. Котэ не делал разницы между ним и дочкой. Благодарность заменила Медее любовь.

«Любимая, любимая, родная... Люблю, как люблю тебя...» — шептал Котэ по ночам и целовал

ее закрытые глаза, шею и грудь. Даже в самые обморочные минуты он предусмотрительно не спрашивал: «А ты? А ты-то, любимая, ангел, радость моя, ты-то любишь меня, любишь, нет?» Нет, об этом Котэ не упоминал. Лишь целуя пальчики гладких ног, и колени, и бедра, и живот, осторожно интересовался: «Так хорошо? А так?» И Меда, улыбаясь с закрытыми глазами, гладила его курчавый затылок.

Уже Натэла ходила в школу, уже годовалая Нина научилась говорить, и сразу целыми фразами, например: «Папа красивый, как лебедь» (росту в «лебедь» было от силы метр шестьдесят, по футболному полю он не бегал, а скорее катался, правда, очень быстро, весь круглый и кудрявый); уже Эка прыгала у мамы в животе, — когда они обвенчались. Котэ было, в принципе, все равно, он и без всякого венчания готов был нарожать вместе со своим ангелом еще с десятков дочерей или сыновей, как получится, и работать хоть на десяти работах, чтобы ангел ни в чем не знал нужды. Но мог ли он не уступить? Котэ не был «мачо», не лез в командиры. Даже от святых обязанностей тамады смущенно отказывался, хоть бы кутили и у него в доме (а без этого, к особой радости прожорливого Гоги, не проходило недели). Охотно уступая и подчиняясь всем, Котэ странным образом во всем добивался своего. Весьма прочный, хотя и лукавый парень вырос из этого обаятельного Котика.

Стоя с Медеей перед аналогом, под золочеными венцами, вдыхая слегка тошнотворный запах све-

чей и слушая неразборчивое жужжание батюшки на старогрузинском языке, которого никто не понимал, Котэ ощутил тогда странные, как бы тектонические сдвиги: в груди похолодело и что-то опустилось вниз, под диафрагму, а потом, став легким и теплым, снова поднялось, вроде поплавка, и закачалось на волнах тонких голосов, лившихся с хоров. И когда Медея надевала ему на короткий пухлый палец кольцо, слезы выступили у него на глазах, и он понял, что слова «раб Божий» относятся к нему, и что это так и есть на самом деле. И отныне его брак с Медой *освящен*, то есть свят перед Богом, в которого он, строго говоря, не верил.

Ворочаясь без сна на жесткой земле, отец Константин предавался анализу. Все-таки он был ученым, а следовательно, аналитиком. Хотя, как сказано, необходимо и достаточно одной веры. Но потому он и считал себя недостойным, плохим сыном (и одновременно отцом) церкви, что непрерывно так и сяк гонял в своей умной голове, как мяч по полю, мысли и сомнения об истинности собственного призвания. В эти холодные ночи, каждая из которых могла стать последней, Котэ заглядывал в себя и спрашивал сурово: какая конкретно любовь привела его к служению? Измученный бессонницей, он путался в показаниях, и пресловутая любовь к Богу, в которой так мало горячей безрассудности (почему она и требует от нас непрерывных доказательств), мешалась с любовью и страстью к жене, к Медее, которую он хотел до конца

завоевать — еще и этим. Любовь к Богу была системой, как таблица Менделеева. Любовь к Меде — откровением, как сама природа, кровь земли, сосновая шишка, впившаяся в бок, шум прибоя, ветер в кронах, огненный цветок граната, тепло детского затылочка на ладони. «Прости, Господи, спаси и помилуй», — говорил он вслух. «Меда, Меда, — возражало сердце, — мед языка твоего, пастбище лона твоего, огонь чресел и аромат ноздрей — как от яблок?» Да, именно так, но не эта ли Песнь песней является жемчужиной Книги книг?

Перед рассветом к отцу Константину подошел командир отряда, его школьный друг Сандро. Старая детская дружба не давала отделаться от мысли, что все они тут играют: понять этой войны Котэ не мог. На Пицунде прошло их общее детство, и почему надо взрывать эту землю, никто никому не объяснял. Став священником, он отправился сюда вместе с другими грузинами, ибо считал долгом поддерживать и укреплять дух солдат, среди которых было много тбилисцев, его товарищей, таких же как Сандрик. Оружия Котэ сроду в руках не держал.

— Хочу исповедаться, бичо, — сказал командир. — Через час выходим в горы, Мамука ждет подкрепления, ночью там видели русские вертолеты.

Тут не надо быть стратегом. Ничего хорошего от этого похода Котэ не ждал.

«Чревоугодие, пьянство, сквернословие, богохульство...» — перечислил сам конспективно. Санд-

ро кивал. «Отпускаю. Жена ближнего?» «Ара! Ты что, как можно!» — возмутился командир. «Тайный грех?» Сандро молчал. Котэ с тоской смотрел в размытое небо. С низкой ветки орешника вспорхнул угод, сверкнул мандариновой грудкой.

— Бичо, — глухо сказал командир, — помнишь под Гудаутой маленькое село?

Еще бы Котэ не помнил. Несколько до фундаментов разрушенных домов, ни одного человека, только свиньи визжали под ножами.

— Пьяный я тогда был...

— Накурился еще, — напомнил священник.

— Плохо соображал, совсем чердак снесло. Ну, короче, пошел глянуть, есть ли кто живой. А там заросли кизила, шени дэда, красные от ягод. Сунулся туда, пощипать, вдруг слышу щелчок...

Новая волна смрадной тоски нахлынула, Котэ увидел, как все это было: в кустах мальчишка лет девяти, его обожженные страхом и ненавистью глаза, винтовка в грязных худых руках, осторожный щелчок затвора... Увидел, как на долгую секунду скрестились их взгляды, и Сандро шепнул: «Брось, бичо, уходи!» Но бичо прицелился — и сухая очередь опрокинула его на шипастые ветки кизила, и новые красные капли повисли среди листьев. Потому что Сандро стрелял гораздо лучше и даже с пьяных глаз соображал быстрее.

Котэ накрыл голову командира епитрахилью, положил ему на темя руку и сказал с глубокой грустью: «Во имя Отца и Сына, аминь».

И это тоже казалось игрой.

В горах погибли почти все. Котэ сидел в узкой сырой лощине и держал на коленях голову раненого мальчика, они вместе играли в университетской сборной. Котэ учился тогда в аспирантуре физфака, а мальчишка только поступил. Потом Котэ ушел в духовную академию, а этот паренек из Мамукиного отряда бросил университет, футбол и стал снимать кино. Он и здесь не расставался с камерой и снял пулю, которая летела прямо в объектив.

Оставшихся накрыли с вертолета. «Господи, — сказал святой отец, — возьми меня вместо него». Упал на оператора, вздувшаяся от ветра ряса опала, как черный парашют. Живы остались оба.

Котэ и Паата уходили все дальше в горы. Через несколько дней оператор мог идти сам, раненое лицо лечили травами. У священника был небольшой запас антибиотиков. Глаз, разумеется, спасти не удалось, но заражения не случилось.

Попадья Медея в числе остальных жен и матерей получила извещение о так называемой смерти храбрых. В тот же день родилась третья поповна. Во сне к Медее пришел муж и сказал: назови дочку Крошка, она будет счастлива. Такого имени в святцах не нашли, и крестили девочку Экой, Екатериной. Но звали везде и всегда Крошкой. Как приказал отец.

Мужчины перевалили хребет. На грузинском блокпосту их арестовали и привезли в Тбилиси. Паату с рыданиями увели из штаба домой пять женщин: мать, бабушка, сестра и две невесты, из кото-

рых он еще не успел выбрать. Котэ в Тбилиси знали все и отпустили без разбирательства.

Меда сказала: «Я знала... Мы ждали тебя». «Конечно», — сказал Котэ и уснул. Спящему Медея показала ему маленькую: «Вот Крошка. Как ты велел».

Потом они сидели в саду, и Медея никак не могла понять, о чем говорит возвращенный ей за ее крепкую веру и верность красивый, как лебедь, мужчина — опора ее жизни. А он говорил: «Родная, любимая, ангел мой... Что я могу сделать? Я ведь сам сказал: возьми меня вместо него. Я хотел только, чтоб мальчишка жил. Я должен был просить об этом, потому что погиб другой мальчишка, ну это долго рассказывать... И Он, выходит, простил мне... Но ведь это знак, понимаешь, раз я жив, значит, Он хочет, чтоб эта жизнь принадлежала Ему, ну как ты не понимаешь...»

Меда совсем запуталась в потоке местоимений. Она чувствовала, что происходит что-то дикое, только вот что? Ее женский, мирской, хотя и ангельский, ум не постигал этой путаницы, колючей этой изгороди, которую насадил ее Котэ, как Гога — огромные кусты плетистых роз в их саду; ветви, нагруженные алыми цветами, свешивались через забор, и матушка нарезала всем прихожанам огромные букеты. Но эти теперешние его слова вовсе не цвели, они увядали и чернели, срываясь с его спрятанных в бороде губ.

Через неделю Котэ постригся в монахи и уехал из Тбилиси в далекий приход, в армянское село. Он

стал настоятелем крошечного монастыря, где кроме него жили еще три послушника. Рядом построил совсем игрушечный храм, где сам и служил. Неподалеку стояли российские части, и было много русских. Так что православная паства его, можно сказать, заждалась, хотя и не с такой верой и трепетом, как когда-то Медея.

Через несколько лет нареченный для новой жизни Павлом (Паатой), умерший для мира Котэ за свои многочисленные заслуги был рукоположен епископом. Владыка близко сошелся с врачом из гарнизона, умеренно пьющим ветераном по имени Илья Ильич, так же отцом троих детей — правда, сыновей. Тот часто навещал епископа в его «резиденции», владыка сам жарил во дворе шашлыки и угощал доктора прекрасным кахетинским. Выпив, Илья Ильич переходил на «ты» и убеждал владыку вернуться к жене. «Подумай, отец, — задушевно заглядывал гость в черные, светящиеся простодушием и лукавством глаза хозяина. — Ей-то какво? Мы с Надей хоть и не бог весть как живем, я ж выпиваю, трудно ей... Но вот случись что со мной — она и не выживет. А уж я и подавно. Нельзя, отец, без семьи...» На что владыка пояснял терпеливо: «Наоборот, дорогой, нам, чернецам, с семьей нельзя. Не положено. Семья — радость. А мы не для радости живем». «А для чего же?!» — изумлялся веселый доктор. «Для служения». И тут добрый пьяница возьми да и спроси, точно кто толкнул: «А что, отче, оставайся ты, к примеру, “белым” — в епископы-то не двинули бы?» И вла-

дыка с улыбкой отвечал: «Нет, дорогой, белый священник не может быть иерархом. Только монах». «Выходит, владыка, ты карьерист?» — усмехался Илья Ильич. И владыка хохотал заливисто: «Выходит, так, сын мой».

Котэ до сердечной боли тосковал по жене, что само по себе было большим грехом. Опасаясь греховных мыслей, он перестал навещать семью. Дочки сильно скучали, Крошка спрашивала по нескольку раз на дню: «Где папа?» «Папа работает», — отвечала Медея, что было правдой.

Гнев прорастал в ее сердце, лишенном опоры любви.

Владыка Павел усердно молился и странствовал Божьими маршрутами по своей епархии, по ее жутким, разбитым после войны, в мирное время дорогам, потому что все, кто выжил и удержался на этой земле, стали жить сегодняшним днем, не хотели трудиться и постепенно забывали Бога.

В свои сорок два года Медея оставалась все еще очень красивой, подобно многим породистым грузинкам. Глаза ее пылали, как в девичестве, но лицо бледнело и сохло, и губы растрескались и покрылись морщинами в посте любви. А владыка, который спал очень мало, так как труд молитвы отнимал у него чрезвычайно много времени и сил, засыпал быстро и крепко, как дитя, и плоть все реже мучила его. Он честно исполнял свой договор с Богом и от всей души надеялся, что Меда его понимает.

Вот тут мудрый Павел ошибался. Хотя помощь владыки Медея без гордыни принимала. Когда он

в последний раз спустился со своих гор в их общий дом, утопающий в розах, она подошла под благословение, поцеловала ему руку, с улыбкой накрыла на стол и подливала вина. Но ни единого, ни единого, ни единого слова не сказала соломенная вдова. «Может быть, хочешь развестись? Выйдешь замуж, будешь жить по-человечески...» — осмелился предложить на прощанье владыка, перебирая пухлыми пальцами нежные, чуть грязноватые волосики Крошки, любимейшей из дочерей. Разлепив морщинистые губы, Медея отвечала, пряча гневный взгляд: «Я твоя жена перед Богом, нет?» И еще попросил о снисхождении чернец: «Отпусти Крошку, пусть поживет немного у меня...» Но Меда молча стащила у него с колен упирающуюся дочку, спрятала лицо в ее кудрях и ушла в дом. Незаметный и забытый всеми, в кровавых зарослях возвращенных им цветов стоял Гога и бубнил: «Гогу забрать, Гогу забрать, забрать Гогу, Котэ...» Розы мести цвели и заливали благоуханием все вокруг, вытесняя молочный запах вспотевшей от рева Крошки и прочие запахи, мысли и поступки.

На Пасху от владыки привезли посылочку с деревянными расписными яйцами, с чьих гляцевых бочков таращились одинаковые в беспощадной строгости святые, а также письмо, в котором владыка слал благословения с поцелуями и самодельную картонную открыточку, где собственноручно нарисовал для Крошки голубка. Медея бросила письмо в печку вместе с яйцами и голубем. Но закричал без слов бедный Гога, сунул голую руку в огонь

и вытащил картонку. Голубок косил черным глазом и бессмысленно улыбался — вылитый Гога. И он ухватил Крошку за волосы, и стал тыкать ей в лицо обгоревший квадратик, и топал ногами, и лопотал: «Гога, Гога, Крошка — противная, Гогу все любить!» На рев Эки прибежала Медея, дала брату подзатыльник и, прижав дочку к груди, унесла в дом — как тогда.

А наутро Меда вышла в сад и вскрикнула: все розы были изломаны и растоптаны, поверх раздавленных цветов, будто в луже крови, лицом вниз лежал крестом Гога и глухо бормотал. Склонившись над братом, Меда разобрала: «Котэ хочу, Котэ хочу».

Свечи отражались в золотом облачении епископа. Женщины в белых платочках, в том числе докторша Надя, повторяли за ним по-русски слова пасхального молебна. Нехристь Илья Ильич спал, хорошо выпив с вечера. Никто не чуял беды. Даже сама Крошка. Едва дернулась, побилась, как рыбка, и затихла, так и не проснувшись. Медея же, встрепетавшись отчего-то, хотя Гога творил свою месть почти неслышно, не нашла брата ни в бывшей комнате Котэ, где дурачок спал обычно на узком топчане, ни на террасе, где иногда ночевал в жару. Детскую заливала молочным светом луна, и тень от Гоги, стоявшего на коленях у кровати Эки, лежала перед Медой четкая, как последний рубеж. Медея разогнула примерзшие к тоненькому горлышку пальцы брата, выдержала его голубиную улыбку, но слов уже не услышала, поскольку провалилась

в странное и краткое небытие, как бы спеша догнать маленькую Крошку и облегчить ей незнакомый путь. Собственно говоря, в словах Гоги не содержалось ничего нового. «Гогу, — говорил он, — все Гогу любить...»

Очнувшись на рассвете, Медея сразу пошла в милицию — напротив церкви. «Гамарджоба, батоно Шалико, — поклонилась она дежурному. — Прошу, зайдите к нам. Крошку мою убили». «Кто?!» — взревел Шалико, выкатив неусыпные глаза. «Я, батоно. Кто ж еще».

Экспертиза признала Медею вменяемой. Владыка Павел, проходивший по делу свидетелем, подошел к клетке, что отгораживала злодейку от зала суда. Бессильными пальцами сжал прутья, притиснул к решетке бородатое лицо. Слезы, не утихая, лились из черных глаз. Медея собрала иссякающую страсть и плюнула в лукавую черноту. Слезы, смыв плевков, ушли в жесткую бороду. Как в землю.

• *история*
последняя,
анималистическая •

ГУБЕРНАТОР

Хлопчика давно уже хотели пустить в расход, но уж больно любил его старший — Фомич. Пришлось, конечно, побегать, однако — добился. Назначили дефектного Хлопчика губернатором.

Дефект, правда, был серьезный: слабые бабки. Это если не считать остального. Ну, скажем, кровь. Родился Хлопчик нагулянным на стороне, судя по всему, от местного степняка — кривоногого монгола с тяжелым крупом и короткой шеей, привычного ко всякой работе и многодневным переходам, в меру быстрого, выносливого и покорного. Не из тех, к сожалению, монгольских лошадок, что показывали когда-то бешеную резвость в боях и состязаниях. Этих осталось наперечет, директор завода, кстати, уже думал о возрождении породы, и когда лучшая орловка Хрестоматия ожеребилась (раньше срока), зоотехник Батыр Байкалов понадеялся, что кургузый метис станет родоначальником новой ветви. Даже придумал название «батыр орловский» — вроде и азиатский богатырь, что спра-

ведливо, а в то же время и намек на личное участие. Но уже совсем скоро стало очевидно, что никаким богатырем тут не пахнет, как, впрочем, и рысакom. Мать-аристократку с потрохами пожрали подлые крестьянские гены, и к двум месяцам мотался Хлопчик по леваде за опозоренной мамашей, загребая кривыми ногами и тряся пузом. Стройные орловские бабки не удержали плебейского веса, прогнулись, и бедный жеребенок вышел совершенным уродиком, курам на смех: низкая холка, жесткая грива торчком, уши по ветру, ноги колесом, хвост точно дворницкая метла. Глаза только чудесные — лиловые, длинные, с печальными черными ресницами.

А когда Хлопчик вошел в некоторый возраст, проявилось еще одно материнское наследие.

Глядя на неказистого Хлопчика, никто не заподозрил бы, что перед ним в сиянии мыслей, поступков и общего поведения свесил горемычную голову чеховский интеллигент: совесть, скромность, рефлексия.

Уже подростком он догадался, что ему суждено всей своей жизнью (а то и смертью) искупать легкомыслие матери. И полюбил ее еще больше, стараясь, однако, не слишком докучать нежностью, чтобы не ставить в неловкое положение. Мать была еще молода и хороша собой, и пользовалась успехом у настоящих племенников, и вполне могла увлечься сама и загладить свою провинность, родив перспективного наследника от собрата по крови, от ровни.

У Хрестоматии щемило сердце от застенчивой любви сына, она страдала, как Аркадина, и, подобно ей, преследовала его придирками и иронией. Хлопчик старался меньше попадаться ей на глаза, но мать сама находила его где-нибудь далеко в степи и нежно облизывала, как маленького, укладывала точеную голову ему на плечо, и так они могли стоять часами, тихо беседуя и прося друг у друга прощения. Мать часто плакала, Хлопчик утешал ее, трогая замшевой губой ее уши, веки, шею. Это было единственным отроческим счастьем Хлопчика.

Завод потешался над ним. Отца он не знал. К двум годам здоровый и сильный жеребец стал изгоем. Собственно, он сам еще раньше выбрал одиночество, понимая, что ни дружбы, ни любви, ни ласки ни от кого, кроме мамы, ожидать не приходится.

Еще Фомич был добр к нему — старший конюх завода. Седлая Хлопчика, Фомич всегда угощал его сахаром, яблоком, морковкой, хлопал по шее, приговаривая: «Чудо в перьях, друг ты мой корявый, чмо ушастое... Ишь чего удумали — забить на колбасу, фашистыги долбаные!» И Хлопчик тряской рысью вез доброго Фомича в степь, пропитанную жаром и горьким запахом полыни. Теплая земля, до звона утоптанная сотнями поколений кентавров, приятно согревала оплывшие, запущенные копыта Хлопчика. По обе стороны до горизонта зависал на несколько минут голубой вечер, и тут же стремительным занавесом падала черная ночь, исколотая белыми остриями звезд. Фомич терпеливо

учил Хлопчика ходить плавным галопом и когда, наконец, смог послать его в прекрасный легкий, широкий аллюр — Хлопчик испытал новое счастье, точно осознанное им как переход из отрочества в юность.

Однажды, пасясь по привычке в стороне от табуна, он вдруг встал как вкопанный и потянул широкими ноздрями новый острый аромат. Невдалеке гарцевала кобылка — полупрозрачная, фарфоровая, ярко-розовая в арбузном рассвете. Искоса взглянув на рыжего Хлопчика, кобылка тихо заржала, да ударила кокетливо крупом, да вскинула задние ноги. И парень пропал. Тихо, чтобы не спугнуть видение, Хлопчик подошел поближе, сорвал пучок цикория и протянул его к самым губам кобылки. Та улыбнулась, вздернув короткую верхнюю губку, не чинясь, ухватила голубые цветы. Стукнулись зубами и засмеялись оба.

Девочка звалась Куклой. Хлопчик нравился ей, потому что не лез сразу любиться, как другие, не приставал, интересно рассказывал, смешил, читал стихи. «Гоп, гоп, гоп-алле, потные попоны. Степь, как небо на земле, синие тюльпаны!» «Почему синие?» — недоумевала Кукла. «А какие же?» — недоумевал Хлопчик. Он был дальтони-ком, бедняга! Соловая Кукла казалась ему голубой, словно ангел.

Мать предостерегала: держись подальше от этой, не пара тебе. А то будет, как со святым Пегим. Историю святого Пегого Хлопчик знал с детства. Мать, глотая слезы, рассказывала ему, как Пегого

выхолостили за плохую породу, а любимую отдали другому. Пегий был чем-то похож на него.

Но Хлопчика наказали куда страшнее.

Начиналось все точно по житию. Вечерние запахи левады мешались с тонким потом Куклы, они мчались наперегонки, неуклюжий Хлопчик отставал, и Кукла замедлила шаг, и он догнал ее, и страстное ржание обоих смешалось, как стон... И вдруг оглушительно выстрелил кнут, спину обожгло болью. Он еще не знал, что плетеный кожаный хвост, что всегда торчал за поясом Фомича и других конюхов, — не просто веселая остростка выпаса; это гнусный, унижительный инструмент кары.

Фомич ударил Хлопчика впервые — за что? Грозно ржанул кривоногий, встал на дыбы...

Не было для табуна развлечения милее. Повалился на спину от хохота горбоносый буденновец Ирбис — первый красавец завода, потомок легендарного Квадрата (праотца российских заводов, которому за племенное долголетие поставили памятник). Громовое ржание ураганом пронеслось над левадой. Наглый, самовлюбленный бандюга, ахалтек золотой масти Персик, лягнул Хлопчика в живот, а когда тот упал на подкошенные колени, — передним копытом ударил по горлу, отчего голова Хлопчика запрокинулась, из-под челюсти брызнула кровь. Он закрыл глаза и остался лежать в этой позорной позе мольбы... Кони, почуяв свободу и жертву, взбесились, вспыхнуло хулиганское толковище, засвистели, защелкали бичи...

Хрестоматия, постаревшая, но все еще прекрасная, кинулась к сыну, закричала, высоко забила передними ногами — едва не пришибла Фомича. Досталось и ей.

Ночью после покаянных утешений старшего в смежный денник к сыну вошла Хрестоматия и до утра плакала над своим избитым мальчиком. Едва шевеля распухшими губами, Хлопчик спрашивал об одном: «За что, мама, что я сделал?» «Ты нарушил главную заповедь, — шептала мать, прижав губы к уху Хлопчика. — Все мы здесь живем и работаем ради одной цели: создания Идеальной Лошади. Ты посмел влезть в великое дело производства породы со своей любовью. Запомни: любовь, по крайней мере здесь, в заводе, тебе заказана. Бедный сыночек, порченная моя детка... Нет, нету мне прощения...»

И снова из лиловых глаз стареющей красавицы катились слезы. Она знала о преступлениях любви больше других, преступная грешная мать.

— Чо ты нашла в нем, дура? — спрашивал той же ночью Ирбис Куклу, больно кусая ее над низкой перегородкой за губу.

— Сам дурак, — нежно отвечала розовая Кукла. — А Хлопчик... он умеет... умеет ухаживать. Он любит меня, понимаешь, красавчик?

— Подумаешь, я тоже тебя люблю. Проверь, если хочешь. Хоть сейчас, Куколка, а? Ну, давай, давай, поворачивайся...

Ирбис давно раскачал одну из досок между денниками, теперь она легко отодвигалась движением

копыта, от Куклы требовалось лишь прижать круп к широкой щели и спокойно постоять минуты три... Но глупая боялась. Это Ирбиса-то, потомка великого производителя! Не давала, профура, самому Ирбису, о случке с которым мечтали все молодые кобылы завода!

— Не хочу, — отвечала Кукла и отходила, нацеловавшись, в угол, разгребала там сено и нюхала засохшие голубые цветочки цикория.

— Забить к чертовой матери, говорил я, давно пора! — кричал утром директор на Фомича.

— Забить недолго, Пал Палыч, послушай ты, мать твою! Я ведь их чую, как родных. Редкой души конь, чистый интеллигент, клянусь. Прямо создан для этого дела...

— Какого еще дела?! — ярился молодой директор на упрямую тупость старого конюха.

— Губернаторского...

Хлопчик ничего не понимал. После тренировок из манежа увели всех, оставив его наедине с Куклой. Фомич ласково потрепал его по разбитой шее, дал сахару, слегка подтолкнул к кобыле... «Простили!» — радостно подумал Хлопчик. «Нас простили?» — спросила голубая Кукла и потерлась мордой о жесткую щетинистую холку. «Неужели я... мы...» — не смел поверить Хлопчик своему счастью. Провел губами по шелковой спине, Кукла вздрогнула и скакнула вбок. Хлопчик подошел вплотную, его плоть напряглась, чего не было

еще никогда в жизни... Сейчас, сейчас он станет взрослым, мужчиной станет, настоящим конем... Кукла нагнула длинную шею, искоса, нежно взглянула из-за плеча, Хлопчик заржал, поднялся на дыбы, легко возложил передние ноги на круп милой, та присела, дернула хвостом, легкое касание, «да!» — вскрикнула Кукла, единая судорога прошла по их телам, — и выстрел, знакомый ожог. «Запускай!» — гаркнул Фомич... Вороным ветром ворвался в манеж Ирбис, оттолкнул обезумевшего, от внезапного горя Хлопчика и затанцевал, сцепившись с Куклой в одно, заржал жадно, грубо, победно, как боевая труба.

Так Хлопчик стал губернатором, пробником. Его работой с этого дня стало готовить норовистых кобыл к случке, ласкать и размягчать самых строгих — для других коней, красивых, породистых, равнодушных производителей, чтобы сложное дело зачатия проходило легко, без травм и лишнего напряжения.

Нет страшнее судьбы у коня. Последний пария, презираемый всеми, хуже, чем евнух, мерин. Чернорабочий любви.

— Пробник! — ржали вслед. Кукла отворачивалась при встрече, раздувала ноздри и гневно фыркала. А потом и вовсе перестала замечать.

Мать совсем сдала. На рысистых испытаниях, куда ее взяли в последний раз, Хрестоматия споткнулась и сломала ногу. Когда-то лучшую из орловок решено было не трогать и даже не продавать, хотя заводу она была больше не нужна. За старухой уха-

живали, лечили, делали массаж, хорошо кормили. О такой пенсии можно только мечтать в беспощадном мире завода. Но Хрестоматия дряхлаела на глазах и отказывалась от пищи. «Сынок, — сказала она Хлопчику в одну из зимних ночей, когда отопление не справлялось с дикой бурятской стужей. — Я хочу умереть. Так хочу, что это наверняка случится, думаю, не сегодня-завтра. И тебе, милый, было бы лучше всего уйти...» «Куда, мама? — не понял Хлопчик, он вообще стал туго соображать. — Куда?» Но мать не успела ответить. Холод давно подбирался к ее сердцу и, наконец, сковал его. Сердце грешной кобылы остекленело, и вмиг остекленели лиловые глаза.

А Хлопчика все выпускали и выпускали к чужим невестам. И он привычно забалтывал и заласкивал их, все реже давая волю чувству — да оно и само обмелело и затянулось ряской. Хлопчик служил, как старый Фомич, — исправно и остерегаясь новых привязанностей.

Однажды к нему вывели дочь Куклы. Новенькая шарахалась от кривоногого бельмастого уроды. Потеряв один глаз, Хлопчик вдруг излечился от дальтонизма и без усталости изумлялся новым краскам мира. Искра удивительно подходила к своему имени: стремительная, золотисто-гнедая, вся острая, летящая, жаркая... «Не бойся, девочка, — устало сказал Хлопчик. — Меня не надо бояться. Я люблю тебя, как любил твою мать, которую люблю до сих пор. Я сочинял ей стихи. Хочешь, тебе сочиню?» «Хочу», — смутилась Искра. «Слушай. Гоп, гоп,

гоп-ля, остывает земля, в небе синяя луна, не вернется весна...» «Почему не вернется?» — на глаза Искры навернулись слезы. «А ты не хочешь спросить, почему синяя?»

— Эй! — щелкнул кнутом молодой конюх. — Будем работать или глазки строить? Давай, холера, жених заждался целку ломать!

И тут рассвирепел размазанный в соплю Хлопчик. Он догадывался, кто жених, и не желал отдавать ему девочку. Он сам, сам, поняли, фашистюги, сам! И поднялся великий раб Хлопчик, как Медный всадник, вернее, его конь, и не успел дурень с кнутом ахнуть, как губернатор, словно настоящий сильный мужик, которого в нем забили кнутах да копытами и низвели до полного ничтожества чужие триумфальные фаллосы, нежно и умело, со всем накопленным опытом взял свою последнюю возлюбленную, которая была естественным продолжением первой, взял и долго, долго, целую вечность, как бог или дьявол, изливал в ее недра нерастраченное горючее никчемной губернаторской жизни.

А глупый Персик выбежал на арену, по блатному мотая золотой гривой, споткнулся и замер на всем скаку: пораженный, униженный, оскорбленный. Ибо не пузатый придурок Хлопчик, а он, наглый и блестящий, был здесь совершенно лишним.

Хлопчик же вдруг понял, куда ему советовала уйти мать, — и ушел в распахнутую дверь, крикнув Искре на прощание: «Вернется, милая, все вернется, пошутил я!»

Несколько часов мчался конь выстуженной степью, легким и широким галопом, как учил его друг Фомич, мчался, пока не разорвались от ледяного воздуха легкие, и потом еще длинно прыгнул, несомый пустым пузырем в груди — и пал, счастливый.

Оглавление

От автора	5
-----------------	---

Шесть коммунальных историй

Пенсионерка	9
Любовный бред	18
Клятва гиппотама	26
Marie d'elle	45
Белый танец	61
Город Савелов	77

Семь инфернальных историй

Бес в ребро	95
Пики козыри	106
Подарок феи	123
Хем и шалашовка	143
Мысленно с вами	155
Ундина из Нижнего Тагила	163
Дурочка, или Депо «Желание»	179

Семь криминальных историй

Клеопатра	221
Мажор	233
Подзаборница	249
Бахчисарайский фонтан	257
Римские каникулы	273
Поповна	281
Владыка	289

История последняя, анималистическая

Губернатор	307
------------------	-----

Литературно-художественное издание

Боссарт Алла Борисовна

ЛЮБОВНЫЙ БРЕД

Рассказы

Заведующая редакцией *Е.Д.Шубина*

Младший редактор *М.А.Горелова*

Технический редактор *М.Ю.Байкова*

Корректоры *М.И.Уланова, Н.П.Власенко*

Компьютерная верстка *Е.М.Илюшиной*

ООО «Издательство Астрель»

129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»

141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96

Электронный адрес:

www.ast.ru

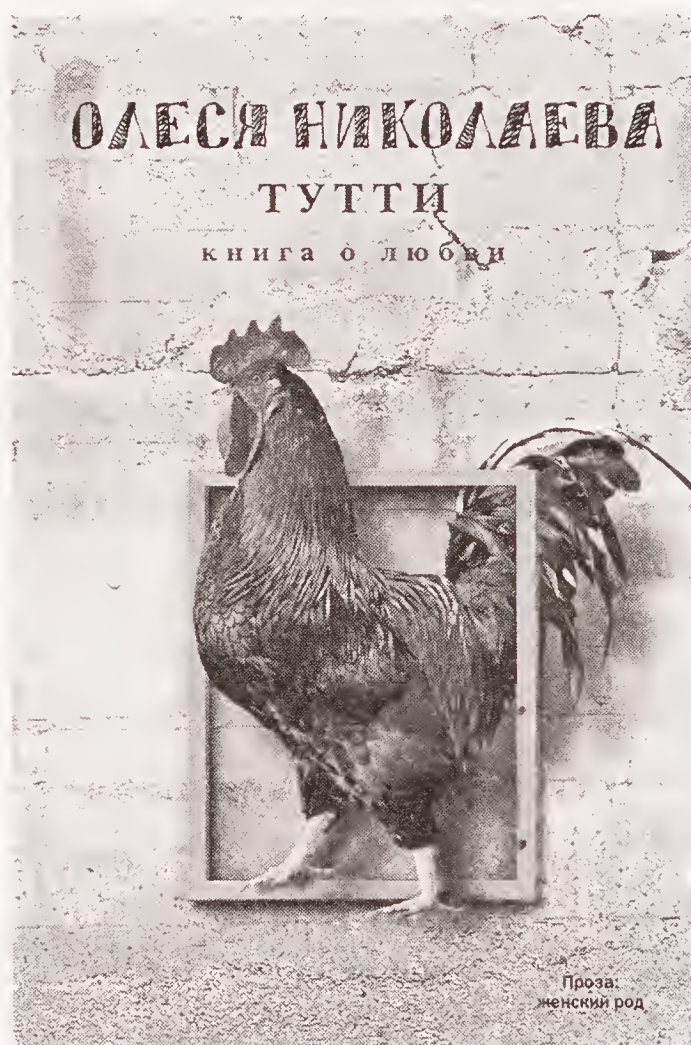
E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Издательская группа АСТ представляет

сборник прозы

ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ
ТУТТИ



Героиня книги — литератор, писательская дочка, жена священника. Ее жизнь — цепь каких-то невероятных приключений, искушений и испытаний, а дом — своего рода Ноев ковчег: там могут встретиться представители московской богемы и монахи, его населяют родственники — близкие и дальние, кошки, собака и даже мартышка...

Смешно, абсурдно, пронзительно, трагично. Как в жизни...



«Болезнь любви в душе моей...» Истории, рассказанные Аллой Боссарт, — криминальные, коммунальные, инфернальные — как раз об этом, о любви как роде недуга, который поражает всех: молодых и старых, красавиц и инвалидов, бомжей и олигархов, священников и мелких бесов...

«Вся книга — именно любовный бред с невозможностью очнуться; а дочитаешь до конца и лишь тогда поймешь, что неотступно влекли тебя по тексту не перипетии и повороты сюжетов, а мастерство рассказчика, прозаика Аллы Боссарт».

Дина Рубина

«Боссарт пишет прозу, лишенную не только вторичных, но и первичных половых признаков — с обеих сторон сразу. Пишет так, что любой мужик позавидует — правильно, от плеча, вкладывая весь вес тела, как учили нас драться старшие товарищи».

Александр Кабаков

ISBN 978-5-17-064893-1



9 785170 648931

www.elkniga.ru